

Красное и черное

Автор:

Фредерик Стендаль

Красное и черное

Стендаль (Мари-Анри Бейль)

Роман «Красное и черное» – это трагическая история жизненного пути Жюльена Сореля, мечтающего о славе Наполеона. Делая карьеру, Жюльен следовал своему холодному, расчетливому уму, но в глубине души всегда был в бесконечном споре с самим собой, в борьбе между честолюбием и честью.

Но честолюбивым мечтам не суждено было свершиться.

Фредерик Стендаль

Красное и черное

Часть первая

Правда, горькая правда.

Дантон

I. Городок

Put thousands together – less bad,

But the cage less gay.

Hobbes[1 - Посадите вместе тысячи людей получше этих, в клетке станет еще хуже. Гоббс (англ.).]

Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-Конте. Белые домики с островерхими крышами красной черепицы раскинулись по склону холма, где купы мощных каштанов поднимаются из каждой лощинки. Ду бежит в нескольких сотнях шагов пониже городских укреплений; их когда-то выстроили испанцы, но теперь от них остались одни развалины.

С севера Верьер защищает высокая гора – это один из отрогов Юры. Расколотые вершины Верра укрываются снегами с первых же октябрьских заморозков. С горы несется поток; прежде чем впасть в Ду, он пробегает через Верьер и на своем пути приводит в движение множество лесопилок. Эта нехитрая промышленность приносит известный достаток большинству жителей, которые скорее похожи на крестьян, нежели на горожан. Однако не лесопилки обогатили этот городок; производство набивных тканей, так называемых мюлузских набоек, – вот что явилось источником всеобщего благосостояния, которое после падения Наполеона позволило обновить фасады почти что у всех домов в Верьере.

Едва только вы входите в город, как вас оглушает грохот какой-то тяжело ухающей и страшной на вид машины. Двадцать тяжелых молотов обрушиваются с гулом, сотрясающим мостовую; их поднимает колесо, которое приводится в движение горным потоком. Каждый из этих молотов изготавливает ежедневно уж не скажу сколько тысяч гвоздей. Цветущие, хорошенькие девушки занимаются тем, что подставляют под удары этих огромных молотов кусочки железа, которые тут же превращаются в гвозди. Это производство, столь грубое на вид, – одна из тех вещей, которые больше всего поражают путешественника, впервые очутившегося в горах, отделяющих Францию от Гельвеции. Если же попавший в Верьер путешественник полюбопытствует, чья это прекрасная гвоздильная фабрика, которая оглушает прохожих, идущих по Большой улице, ему ответят протяжным говорком: «А-а, фабрика-то – господина мэра».

И если путешественник хоть на несколько минут задержится на Большой улице Верьера, что тянется от берега Ду до самой вершины холма, – верных сто шансов против одного, что он непременно повстречает высокого человека с важным и озабоченным лицом.

Стоит ему показаться, все шляпы поспешно приподнимаются. Волосы у него с проседью, одет он во все серое. Он кавалер нескольких орденов, у него высокий лоб, орлиный нос, и в общем лицо его не лишено известной правильности черт, и на первый взгляд даже может показаться, что в нем вместе с достоинством провинциального мэра сочетается некоторая приятность, которая иногда еще бывает присуща людям в сорок восемь – пятьдесят лет. Однако очень скоро путешествующий парижанин будет неприятно поражен выражением самодовольства и заносчивости, в которой сквозит какая-то ограниченность, скудость воображения. Чувствуется, что все таланты этого человека сводятся к тому, чтобы заставлять платить себе всякого, кто ему должен, с величайшей аккуратностью, а самому с уплатой своих долгов тянуть как можно дольше.

Таков мэр Верьера, г-н де Реналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз путешественника. Но если путешественник будет продолжать свою прогулку, то, пройдя еще сотню шагов, он заметит довольно красивый дом, а за чугунной решеткой, окружающей владение, – великолепный сад. За ним, вырисовывая линию горизонта, тянутся бургундские холмы, и кажется, словно все это задумано нарочно, чтобы радовать взор. Этот вид может заставить путешественника забыть о той зачумленной мелким барышничеством атмосфере, в которой он уже начинает задыхаться.

Ему объяснят, что дом этот принадлежит г-ну де Реналю. Это на доходы от большой гвоздильной фабрики построил верьерский мэр свой прекрасный особняк из тесаного камня, а сейчас он его отделявает. Говорят, предки его – испанцы, из старинного рода, который будто бы обосновался в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV.

С 1815 года господин мэр стыдится того, что он фабрикант: 1815 год сделал его мэром города Верьера. Массивные уступы стен, поддерживающих обширные площадки великолепного парка, спускающегося террасами до самого Ду, – это тоже заслуженная награда, доставшаяся г-ну де Реналю за его глубокие познания в скобяном деле.

Во Франции нечего надеяться увидеть такие живописные сады, как те, что опоясывают промышленные города Германии – Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Конте чем больше нагромождено стен, чем больше щетинятся ваши владения камнями, нагроможденными один на другой, тем больше вы приобретаете прав на уважение соседей. А сады г-на де Реналья, где сплошь стена на стене, еще потому вызывают такое восхищение, что кой-какие небольшие участки, отошедшие к ним, господин мэр приобретал прямо-таки на вес золота. Вот, например, и та лесопилка на самом берегу Ду, которая вас так поразила при въезде в Верьер, и вы еще обратили внимание на имя «Сорель», выведенное гигантскими буквами на доске через всю крышу, – она шесть лет назад находилась на том самом месте, где сейчас г-н де Реналь возводит стену четвертой террасы своих садов.

Как ни горд господин мэр, а пришлось ему долгонько обхаживать да уговаривать старика Сореля, мужика упрямого, крутого; и пришлось ему выложить чистоганом немалую толику звонких золотых, чтобы убедить того перенести свою лесопилку на другое место. А что касается до общественного ручья, который заставлял ходить пилу, то г-н де Реналь благодаря своим связям в Париже добился того, что его отвели в другое русло. Этот знак благоволения он снискал после выборов 1821 года.

Он дал Сорелю четыре арпана за один, в пятистах шагах ниже по берегу Ду, и хотя это новое местоположение было много выгоднее для производства еловых досок, папаша Сорель – так стали звать его с тех пор, как он разбогател, – ухитрился выжать из нетерпения и мании собственника, обуявших его соседа, кругленькую сумму в шесть тысяч франков.

Правда, местные умники злословили по поводу этой сделки. Как-то раз, в воскресенье, это было года четыре тому назад, г-н де Реналь в полном облачении мэра возвращался из церкви и увидел издали старика Сореля: тот стоял со своими тремя сыновьями и ухмылялся, глядя на него. Эта усмешка пролила роковой свет в душу г-на мэра – с тех пор его гложет мысль, что он мог бы совершить обмен намного дешевле.

Чтобы заслужить общественное уважение в Верьере, очень важно, громоздя как можно больше стен, не прельститься при этом какой-нибудь выдумкой этих итальянских каменщиков, которые пробираются весной через ущелья Юры, направляясь в Париж.

Подобное новшество снискало бы неосторожному строителю на веки вечные репутацию сумасброда, и он бы навсегда погиб во мнении благоразумных и умеренных людей, которые как раз и ведают распределением общественного уважения во Франш-Конте.

По совести сказать, эти умники проявляют совершенно несносный деспотизм, и вот это-то гнусное словцо и делает жизнь в маленьких городках невыносимой для всякого, кто жил в великой республике, именуемой Парижем. Тирания общественного мнения – и какого мнения! – так же глупа в маленьких городах Франции, как и в Американских Соединенных Штатах.

II. Господин мэ́р

Престиж! Как, сударь, вы думаете, это пустяки? Почет от дураков, глазеющая в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца.

Барнав

К счастью для г-на де Реналья и его репутации правителя города, городской бульвар, расположенный на склоне холма, на высоте сотни футов над Ду, понадобилось обнести громадной подпорной стеной. Отсюда благодаря на редкость удачному местоположению открывается один из самых живописных видов Франции. Но каждую весну бульвар размывало дождями, дорожки превращались в сплошные рытвины, и он становился совершенно непригодным для прогулок. Это неудобство, ощущаемое всеми, поставило г-на де Реналья в счастливую необходимость увековечить свое правление сооружением каменной стены в двадцать футов вышины и тридцать – сорок туазов длины.

Парапет этой стены, ради которой г-ну де Реналью пришлось трижды совершить путешествие в Париж, ибо предпоследний министр внутренних дел объявил себя смертельным врагом верьерского бульвара, – парапет этот ныне возвышается примерно на четыре фута над землей. И, словно бросая вызов всем министрам, бывшим и нынешним, его сейчас украшают гранитными плитами.

Сколько раз, погруженный в воспоминания о балах недавно покинутого Парижа, опершись грудью на эти громадные каменные плиты прекрасного серого цвета, чуть отливающего голубизной, я блуждал взором по долине Ду. Вдали, на левом берегу, вьются пять-шесть лощин, в глубине которых глаз отчетливо различает струящиеся ручьи. Они бегут вниз, там и сям срываются водопадами и, наконец, низвергаются в Ду. Солнце в наших горах печет жарко, а когда оно стоит прямо над головой, путешественник, замечтавшийся на этой террасе, защищен тенью великолепных платанов. Благодаря наносной земле они растут быстро, и их роскошная зелень отливает синевой, ибо господин мэ́р распорядился навалить землю вдоль всей своей громадной подпорной стены; несмотря на сопротивление муниципального совета, он расширил бульвар примерно на шесть футов (за что я его хвалю, хоть он и ультрароялист, а я либерал), и вот почему сия терраса, по его мнению, а также по мнению г-на Вально, благоденствующего директора верьерского дома призрения, ничуть не уступает Сен-Жерменской террасе в Лэ.

Что до меня, то я могу посетовать только на один недостаток Аллеи Верности – официальное это название можно прочесть в пятнадцати или двадцати местах на мраморных досках, за которые г-на де Реналья пожаловали еще одним крестом, – на мой взгляд, недостаток Аллеи Верности – это варварски изуродованные могучие платаны: их по приказанию начальства стригут и карнают немилосердно. Вместо того, чтобы уподобляться своими круглыми, приплюснутыми кронами самым невзрачным огородным овощам, они могли бы свободно приобрести те великолепные формы, которые видишь у их собратьев в Англии. Но воля господина мэра нерушима, и дважды в год все деревья, принадлежащие общине, подвергаются безжалостной ампутации. Местные либералы поговаривают, – впрочем, это, конечно, преувеличение, – будто рука городского садовника сделалась значительно более суровой с тех пор, как господин викарий Малон завел обычай присваивать себе плоды этой стрижки.

Сей юный священнослужитель был прислан из Безансона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шеланом и еще несколькими кюре в окрестностях. Старый полковой лекарь, участник итальянской кампании, удалившийся на покой в Верьер и бывший при жизни, по словам мэра, сразу и якобинцем и бонапартистом, как-то раз осмелился попенять мэру на это систематическое уродование прекрасных деревьев.

– Я люблю тень, – отвечал г-н де Реналь с тем оттенком высокомерия в голосе, какой допустим при разговоре с полковым лекарем, кавалером ордена

Почетного легиона, – я люблю тень и велю подстригать мои деревья, чтобы они давали тень. И я не знаю, на что еще годятся деревья, если они не могут, как, например, полезный орех, приносить доход.

Вот оно, великое слово, которое все решает в Верьере: приносить доход; к этому, и только к этому сводятся неизменно мысли более чем трех четвертей всего населения.

Приносить доход – вот довод, который управляет всем в этом городке, показавшемся вам столь красивым. Чужестранец, очутившийся здесь, плененный красотой прохладных, глубоких долин, опоясывающих городок, воображает сперва, что здешние обитатели весьма восприимчивы к красоте; они без конца твердят о красоте своего края; нельзя отрицать, что они очень ценят ее, ибо она-то и привлекает чужестранцев, чьи деньги обогащают содержателей гостиниц, а это, в свою очередь, в силу действующих законов о городских пошлинах приносит доход городу.

Однажды в погожий осенний день г-н де Реналь прогуливался по Аллее Верности под руку со своей супругой. Слушая рассуждения своего мужа, который разглагольствовал с важным видом, г-жа де Реналь следила беспокойным взором за своими тремя мальчиками. Старший, которому можно было дать лет одиннадцать, то и дело подбегал к парапету с явным намерением взобраться на него. Нежный голос произносил тогда имя Адольфа, и мальчик тут же отказывался от своей смелой затеи. Г-же де Реналь на вид можно было дать лет тридцать, но она была еще очень миловидна.

– Как бы ему потом не пришлось пожалеть, этому выскочке из Парижа, – говорил г-н де Реналь оскорбленным тоном, и его обычно бледные щеки казались еще бледнее. – У меня найдутся друзья при дворе...

Но хоть я и собираюсь на протяжении двухсот страниц рассказывать вам о провинции, все же я не такой варвар, чтобы изводить вас длиннотами и мудреными обиняками провинциального разговора.

Этот выскочка из Парижа, столь ненавистный мэру, был не кто иной, как г-н Аппер, который два дня тому назад ухитрился проникнуть не только в тюрьму и в верьерский дом призрения, но также и в больницу, находящуюся на безвозмездном попечении господина мэра и самых видных домовладельцев

города.

– Но, – робко отвечала г-жа де Реналь, – что может вам сделать этот господин из Парижа, если вы распоряжаетесь имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью?

– Он и приехал сюда только затем, чтобы охаять нас, а потом пойдет тискать статейки в либеральных газетах.

– Да ведь вы же никогда их не читаете, друг мой.

– Но нам постоянно твердят об этих якобинских статейках; все это нас отвлекает и мешает нам делать добро. Нет, что касается меня, я никогда не прощу этого нашему кюре.

III. Имущество бедных

Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать божья для деревни.

Флери

Надобно сказать, что верьерский кюре, восьмидесятилетний старец, который благодаря живительному воздуху здешних гор сохранил железное здоровье и железный характер, пользовался правом в любое время посещать тюрьму, больницу и даже дом призрения. Так вот г-н Аппер, которого в Париже снабдили рекомендательным письмом к кюре, имел благоразумие прибыть в этот маленький любознательный городок ровно в шесть часов утра и незамедлительно явился к священнослужителю на дом.

Читая письмо, написанное ему маркизом де Ла-Модем, пэром Франции и самым богатым землевладельцем всей округи, кюре Шелан призадумался.

«Я – старик, и меня любят здесь, – промолвил он наконец вполголоса, разговаривая сам с собой, – они не посмеют». И тут же, обернувшись к

приезжему парижанину, сказал, подняв глаза, в которых, несмотря на преклонный возраст, сверкал священный огонь, свидетельствовавший о том, что ему доставляет радость совершить благородный, хоть и несколько рискованный поступок:

– Идемте со мной, сударь, но я попрошу вас не говорить в присутствии тюремного сторожа, а особенно в присутствии надзирателей дома призрения, решительно ничего о том, что мы с вами увидим.

Господин Аппер понял, что имеет дело с мужественным человеком; он пошел с почтенным священником, посетил с ним тюрьму, больницу, дом призрения, задавал немало вопросов, но, невзирая на странные ответы, не позволил себе высказать ни малейшего осуждения.

Осмотр этот продолжался несколько часов. Священник пригласил г-на Аппера пообедать с ним, но тот отговорился тем, что ему надо написать массу писем: ему не хотелось еще больше компрометировать своего великодушного спутника. Около трех часов они отправились заканчивать осмотр дома призрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях их встретил сторож – кривоногий гигант саженого роста; его и без того гнусная физиономия сделалась совершенно отвратительной от страха.

– Ах, сударь, – сказал он, едва только увидел кюре, – вот этот господин, что с вами пришел, уж не господин ли Аппер?

– Ну так что же? – сказал кюре.

– А то, что я вчера получил насчет них точный приказ – господин префект прислал его с жандармом, которому пришлось скакать всю ночь, – ни в коем случае не допускать господина Аппера в тюрьму.

– Могу сказать вам, господин Нуару, – сказал кюре, – что этот приезжий, который пришел со мной, действительно господин Аппер. Вам должно быть известно, что я имею право входить в тюрьму в любой час дня и ночи и могу привести с собой кого мне угодно.

– Так-то оно так, господин кюре, – отвечал сторож, понизив голос и опустив голову, словно бульдог, которого заставляют слушаться, показывая ему палку. –

Только, господин кюре, у меня жена, дети, а коли на меня жалоба будет да я места лишусь, чем жить тогда? Ведь меня только служба и кормит.

– Мне тоже было бы очень жаль лишиться прихода, – отвечал честный кюре прерывающимся от волнения голосом.

– Эка сравнили! – живо откликнулся сторож. – У вас, господин кюре, – это все знают – восемьсот ливров ренты да кусочек земли собственной.

Вот какие происшествия, преувеличенные, переиначенные на двадцать ладов, разжигали последние два дня всяческие злобные страсти в маленьком городке Верьере. Они же сейчас были предметом маленькой размолвки между г-ном де Реналем и его супругой. Утром г-н де Реналь вместе с г-ном Вально, директором дома призрения, явился к кюре, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. У г-на Шелана не было никаких покровителей; он почувствовал, какими последствиями грозит ему этот разговор.

– Ну что ж, господа, по-видимому, я буду третьим священником, которому в восьмидесятилетнем возрасте откажут от места в этих краях. Я здесь уже пятьдесят шесть лет; я крестил почти всех жителей этого города, который был всего-навсего поселком, когда я сюда приехал. Я каждый день венчаю молодых людей, как когда-то венчал их дедов. Верьер – моя семья, но страх покинуть его не может заставить меня ни вступить в сделку с совестью, ни руководствоваться в моих поступках чем-либо, кроме нее. Когда я увидел этого приезжего, я сказал себе: «Может быть, этот парижанин и вправду либерал – их теперь много развелось, – но что он может сделать дурного нашим беднякам или узникам?»

Однако упреки г-на де Реналья, а в особенности г-на Вально, директора дома призрения, становились все более обидными.

– Ну что ж, господа, отнимите у меня приход! – воскликнул старик кюре дрожащим голосом. – Я все равно не покину этих мест. Все знают, что сорок восемь лет тому назад я получил в наследство маленький участок земли, который приносит мне восемьсот ливров; на это я и буду жить. Я ведь, господа, никаких побочных сбережений на своей службе не делаю, и, может быть, потому-то я и не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят.

Господин де Реналь жил со своей супругой очень дружно, но, не зная, что ответить на ее вопрос, когда она робко повторила: «А что же дурного может сделать этот парижанин нашим узникам?» – он уже готов был вспылить, как вдруг она вскрикнула. Ее второй сын вскочил на парапет и побежал по нему, хотя стена эта возвышалась более чем на двадцать футов над виноградником, который тянулся по другую ее сторону. Боясь, как бы ребенок, испугавшись, не упал, г-жа де Реналь не решалась его окликнуть. Наконец мальчик, который весь сиял от своего удалства, оглянулся на мать и, увидев, что она побледнела, соскочил с парапета и подбежал к ней. Его как следует отчитали.

Это маленькое происшествие заставило супругов перевести разговор на другой предмет.

– Я все-таки решил взять к себе этого Сореля, сына лесопильщика, – сказал г-н де Реналь. – Он будет присматривать за детьми, а то они стали что-то уж слишком резвы. Это молодой богослов, почти что священник; он превосходно знает латынь и сумеет заставить их учиться; кюре говорит, что у него твердый характер. Я дам ему триста франков жалованья и стол. У меня были некоторые сомнения насчет его добронравия, – ведь он был любимчиком этого старика лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, который, воспользовавшись предложением, будто он какой-то родственник Сореля, явился к ним да так и остался жить на их хлебах. А ведь очень возможно, что этот человек был, в сущности, тайным агентом либералов; он уверял, будто наш горный воздух помогает ему от астмы, но ведь кто его знает? Он с Буонапарте проделал все итальянские кампании, и говорят, даже, когда голосовали за Империю, написал «нет». Этот либерал обучал сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собой. Конечно, мне бы и в голову не пришло взять к детям сына плотника, но как раз накануне этой истории, из-за которой я теперь навсегда поссорился с кюре, он говорил мне, что сын Сореля вот уже три года как изучает богословие и собирается поступить в семинарию, – значит, он не либерал, а, кроме того, он латинист. Но тут есть и еще некоторые соображения, – продолжал г-н де Реналь, поглядывая на свою супругу с видом дипломата. – Господин Вально страх как гордится, что приобрел пару прекрасных нормандок для своего выезда. А вот гувернера у его детей нет.

– Он еще может у нас его перехватить.

– Значит, ты одобряешь мой проект, – подхватил г-н де Реналь, отблагодарив улыбкой свою супругу за прекрасную мысль, которую она только что

высказала. – Так, значит, решено.

– Ах, боже мой, милый друг, как у тебя все скоро решается.

– Потому что я человек с характером, да и наш кюре теперь в этом убедится. Нечего себя обманывать – мы здесь со всех сторон окружены либералами. Все эти мануфактурщики мне завидуют, я в этом уверен; двое-трое из них уже пробрались в толстосумы. Ну так вот, пусть они посмотрят, как дети господина де Реналья идут на прогулку под наблюдением своего гувернера. Это им внушит кое-что. Дед мой частенько нам говорил, что у него в детстве всегда был гувернер. Это обойдется мне примерно в сотню экю, но при нашем положении этот расход необходим для поддержания престижа.

Это внезапное решение заставило г-жу де Реналь призадуматься. Г-жа де Реналь, высокая, статная женщина, слыла когда-то, как говорится, первой красавицей на всю округу. В ее облике, в манере держаться было что-то простодушное и юное. Эта наивная грация, полная невинности и живости, могла бы, пожалуй, пленить парижанина какой-то скрытой пылкостью. Но если бы г-жа де Реналь узнала, что она может произвести впечатление подобного рода, она бы сгорела со стыда. Сердце ее было чуждо всякого кокетства или притворства. Поговаривали, что г-н Вально, богач, директор дома призрения, ухаживал за ней, но без малейшего успеха, что снискало громкую славу ее добродетели, ибо г-н Вально, рослый мужчина в цвете лет, могучего телосложения, с румяной физиономией и пышными черными бакенбардами, принадлежал именно к тому сорту грубых, дерзких и шумливых людей, которых в провинции называют «красавец мужчина». Г-жа де Реналь, существо очень робкое, обладала, по-видимому, крайне неровным характером, и ее чрезвычайно раздражали постоянная суетливость и оглушительные раскаты голоса г-на Вально. А так как она уклонялась от всего того, что зовется в Верьере весельем, о ней стали говорить, что она слишком чванится своим происхождением. У нее этого и в мыслях не было, но она была очень довольна, когда жители городка стали бывать у нее реже. Не будем скрывать, что в глазах местных дам она слыла дурочкой, ибо не умела вести никакой политики по отношению к своему мужу и упускала самые удобные случаи заставить его купить для нее нарядную шляпку в Париже или Безансоне. Только бы ей никто не мешал бродить по ее чудесному саду, – больше она ни о чем не просила.

Это была простая душа: у нее никогда даже не могло возникнуть никаких притязаний судить о своем муже или признаться самой себе, что ей с ним

скучно. Она считала, – никогда, впрочем, не задумываясь над этим, – что между мужем и женой никаких других, более нежных отношений и быть не может. Она больше всего любила г-на де Реналья, когда он рассказывал ей о своих проектах относительно детей, из которых он одного прочил в военные, другого в чиновники, а третьего в служители церкви. В общем, она находила г-на де Реналья гораздо менее скучным, чем всех прочих мужчин, которые у них бывали.

Это было разумное мнение супруги. Мэр Верьера обязан был своей репутацией остроумного человека, а в особенности человека хорошего тона, полдюжине шуток, доставшихся ему по наследству от дядюшки. Старый капитан де Реналь до революции служил в пехотном полку его светлости герцога Орлеанского и, когда бывал в Париже, пользовался привилегией посещать наследного принца в его доме. Там довелось ему увидеть г-жу де Монтессон, знаменитую г-жу де Жанлис, г-на Дюкре, пале-рояльского изобретателя. Все эти персонажи постоянно фигурировали в анекдотах г-на де Реналья. Но мало-помалу искусство облекать в приличную форму столь щекотливые и ныне забытые подробности стало для него трудным делом, и с некоторых пор он только в особо торжественных случаях прибегал к анекдотам из жизни герцога Орлеанского. Так как, помимо всего прочего, он был человек весьма учтивый, исключая, разумеется, те случаи, когда речь шла о деньгах, то он и считался по справедливости самым большим аристократом в Верьере.

IV. Отец и сын

E sara mia colpa, se cos? e?

Machiavelli[2 - И моя ли то вина, если это действительно так? Макиавелли (ит.).]

«Нет, жена моя действительно умница, – говорил себе на другой день в шесть часов утра верьерский мэр, спускаясь к лесопилке папаши Сореля. – Хоть я и сам поднял об этом разговор, чтобы сохранить, как оно и надлежит, свое превосходство, но мне и в голову не приходило, что если я не возьму этого аббатика Сореля, который, говорят, знает латынь, как ангел господень, то директор дома призрения – вот уж поистине неугомонная душа – может не хуже меня возыметь ту же самую мысль и перехватить его у меня. А уж каким

самодовольным тоном стал бы он говорить о гувернере своих детей... Ну, а если я заполучу этого гувернера, в чем же он у меня будет ходить, в сутане?»

Господин де Реналь пребывал на этот счет в глубокой нерешительности, но тут он увидел издали высокого, чуть ли не в сажень ростом крестьянина, который трудился с раннего утра, меряя громадные бревна, сложенные по берегу Ду, на самой дороге к рынку. Крестьянин, по-видимому, был не очень доволен, увидя приближающегося мэра, так как громадные бревна загромождали дорогу, а лежать им в этом месте не полагалось.

Папаша Сорель – ибо это был не кто иной, как он, – чрезвычайно удивился, а еще более обрадовался необыкновенному предложению, с которым г-н де Реналь обратился к нему относительно его сына Жюльена. Однако он выслушал его с видом мрачного недовольства и полнейшего равнодушия, которым так искусно прикрывается хитрость уроженцев здешних гор. Рабы во времена испанского ига, они еще до сих пор не утратили этой черты египетского феллаха.

Папаша Сорель ответил сперва длинной приветственной фразой, состоящей из набора всевозможных почтительных выражений, которые он знал наизусть. В то время как он бормотал эти бессмысленные слова, выдавив на губах кривую усмешку, которая еще больше подчеркивала коварное и слегка плутовское выражение его физиономии, деловитый ум старого крестьянина старался доискаться, чего это ради такому важному человеку могло прийти в голову взять к себе его дармоеда-сына. Он был очень недоволен Жюльеном, а вот за него-то как раз г-н де Реналь нежданно-негаданно предлагал ему триста франков в год со столом и даже с одеждой. Это последнее условие, которое сразу догадался выдвинуть папаша Сорель, тоже было принято г-ном де Реналем.

Мэр был потрясен этим требованием. «Если Сорель не чувствует себя благодетельствованным и, по-видимому, не в таком уж восторге от моего предложения, как, казалось бы, следовало ожидать, значит, совершенно ясно, – говорил он себе, – что к нему уже обращались с таким предложением; а кто же мог это сделать, кроме Вально?» Тщетно г-н де Реналь добивался от Сореля последнего слова, чтобы тут же покончить с делом; лукавство старого крестьянина делало его упрямым: ему надобно, говорил он, потолковать с сыном; да слыханное ли это дело в провинции, чтобы богатый отец советовался с сыном, у которого ни гроша за душой? Разве уж просто так, для вида.

Водяная лесопилка представляет собой сарай, построенный на берегу ручья. Крыша его опирается на стропила, которые держатся на четырех толстых столбах. На высоте восьми или десяти футов посреди сарая ходит вверх и вниз пила, а к ней при помощи очень несложного механизма подвигается бревно. Ручей вертит колесо, и оно приводит в движение весь этот двойной механизм: тот, что поднимает и опускает пилу, и тот, что тихонько подвигает бревна к пиле, которая распиливает их, превращая в доски.

Подходя к своей мастерской, папаша Сорель зычным голосом кликнул Жюльена – никто не отозвался. Он увидел только своих старших сыновей, настоящих исполинов, которые, взмахивая тяжелыми топорами, обтесывали еловые стволы, готовя их для распилки. Стараясь тесать вровень с черной отметиной, проведенной по стволу, они каждым ударом топора отделяли огромные щепы. Они не слышали, как кричал отец. Он подошел к сараю, но, войдя туда, не нашел Жюльена на том месте возле пилы, где ему следовало быть. Он обнаружил его не сразу, пятью-шестью футами повыше. Жюльен сидел верхом на стропилах и, вместо того чтобы внимательно наблюдать за ходом пилы, читал книжку. Ничего более ненавистного для старика Сореля быть не могло; он бы, пожалуй, даже простил Жюльену его щуплое сложение, мало пригодное для физической работы и столь не похожее на рослые фигуры старших сыновей, но эта страсть к чтению была ему отвратительна: сам он читать не умел.

Он окликнул Жюльена два или три раза без всякого успеха. Внимание юноши было целиком поглощено книгой, и это, пожалуй, гораздо больше, чем шум пилы, помешало ему услышать громовой голос отца. Тогда старик, несмотря на свои годы, проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилой, а оттуда на поперечную балку, поддерживавшую кровлю. Мощный удар вышиб книгу из рук Жюльена, и она упала в ручей; второй такой же сильный удар обрушился Жюльену на голову – он потерял равновесие и полетел бы с высоты двенадцати – пятнадцати футов под самые рычаги машины, которые размололи бы его на куски, если бы отец не поймал его левой рукой на лету.

– Ах, дармоед, так вот ты и будешь читать свои окаянные книжонки вместо того, чтобы за пилой смотреть? Вечером можешь читать, когда пойдешь к кюре небо коптить, – там и читай сколько влезет.

Оглушенный ударом и весь в крови, Жюльен все-таки пошел на указанное место около пилы. Слезы навернулись у него на глаза – не столько от боли, сколько от огорчения из-за погибшей книжки, которую он страстно любил.

– Спускайся, скотина, мне надо с тобой потолковать.

Грохот машины опять помешал Жюльену расслышать отцовский приказ. А отец, уже стоявший внизу, не желая утруждать себя и снова карабкаться наверх, схватил длинную жердь, которой сшибал орехи, и ударил ею сына по плечу. Едва Жюльен соскочил наземь, как старик Сорель хлопнул его по спине и, грубо подталкивая, погнал к дому. «Бог знает, что он теперь со мной сделает», – думал юноша. И украдкой он горестно поглядел на ручей, куда упала его книга, – это была его самая любимая книга: «Мемориал Святой Елены».

Щеки у него пылали; он шел, не поднимая глаз. Это был невысокий юноша лет восемнадцати или девятнадцати, довольно хрупкий на вид, с неправильными, но тонкими чертами лица и точеным, с горбинкой носом. Большие черные глаза, которые в минуты спокойствия сверкали мыслью и огнем, сейчас горели самой лютой ненавистью. Темно-каштановые волосы росли так низко, что почти закрывали лоб, и от этого, когда он сердился, лицо казалось очень злым. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц вряд ли можно найти еще одно такое лицо, которое отличалось бы столь поразительным своеобразием. Стройный и гибкий стан юноши говорил скорее о ловкости, чем о силе. С самых ранних лет его необыкновенно задумчивый вид и чрезвычайная бледность наводили отца на мысль, что сын его не жилец на белом свете, а если и выживет, то будет только обузой для семьи. Все домашние презирали его, и он ненавидел своих братьев и отца; в воскресных играх на городской площади он неизменно оказывался в числе побитых.

Однако за последний год его красивое лицо стало привлекать сочувственное внимание кое-кого из юных девиц. Все относились к нему с презрением, как к слабому существу, и Жюльен привязался всем сердцем к старику полковому лекарю, который однажды осмелился высказать свое мнение господину мэру относительно платанов.

Этот отставной лекарь откупал иногда Жюльена у папаши Сореля на целый день и обучал его латыни и истории, то есть тому, что сам знал из истории, а это были итальянские походы 1796 года. Умирая, он завещал мальчику свой крест Почетного легиона, остатки маленькой пенсии и тридцать – сорок томов книг, из коих самая драгоценная только что нырнула в городской ручей, изменивший свое русло благодаря связям г-на мэра.

Едва переступив порог дома, Жюльен почувствовал на своем плече могучую руку отца; он задрожал, ожидая, что на него вот-вот посыплются удары.

– Отвечай мне, да не смей врать! – закричал ему в самое ухо грубый крестьянский голос, и мощная рука повернула его кругом, как детская ручонка поворачивает оловянного солдата. Большие, черные, полные слез глаза Жюльена встретились с пронизывающими серыми глазами старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в самую душу.

V. Сделка

Cunctando restituit rem.

Ennius[3 - Медлительностью спас положение. Энний (лат.)]

– Отвечай мне, проклятый книгочей, да не смей врать, хоть ты без этого и не можешь, откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда это ты успел с ней разговориться?

– Я никогда с ней не разговаривал, – ответил Жюльен. – Если я когда и видел эту даму, так только в церкви.

– Так, значит, ты на нее глазел, дерзкая тварь?

– Никогда. Вы знаете, что в церкви я никого, кроме бога, не вижу, – добавил Жюльен, прикидываясь святошей в надежде на то, что это спасет его от побоев.

– Нет, тут что-то да есть, – промолвил хитрый старик и на минуту умолк. – Но из тебя разве что выудишь, подлый ты ханжа? Ну, как бы там ни было, а я от тебя избавлюсь, и моей пиле это только на пользу пойдет. Как-то уж ты сумел обойти господина кюре или кого там другого, что они тебе отхлопотали недурное местечко. Поди собери свой скарб, и я тебя отведу к господину де Реналю. Ты у него воспитателем будешь, при детях.

– А что я за это буду получать?

– Стол, одежду и триста франков жалованья.

– Я не хочу быть лакеем.

– Скотина! А кто тебе говорит про лакея? Да я-то что ж, хочу, что ли, чтоб у меня сын в лакеях был?

– А с кем я буду есть?

Этот вопрос озадачил старика Сореля: он почувствовал, что, если он будет продолжать разговор, это может довести до беды; он накинулся на Жюльена с бранью, попрекая его обжорством, и наконец оставил его и пошел посоветоваться со старшими сыновьями.

Спустя некоторое время Жюльен увидел, как они стояли все вместе, опершись на топоры, и держали семейный совет. Он долго смотрел на них, но, убедившись, что ему все равно не догадаться, о чем идет речь, обошел лесопилку и пристроился по ту сторону пилы, чтобы его не захватили врасплох. Ему хотелось подумать на свободе об этой неожиданной новости, которая должна была перевернуть всю его судьбу, но он чувствовал себя сейчас не способным ни на какую рассудительность, воображение его то и дело уносилось к тому, что ожидало его в чудесном доме г-на де Реналья.

«Нет, лучше отказаться от всего этого, – говорил он себе, – чем допустить, чтобы меня посадили за один стол с прислугой. Отец, конечно, постарается принудить меня силой; нет, лучше умереть. У меня накоплено пятнадцать франков и восемь су; сбегу сегодня же ночью, и через два дня, коли идти напрямик, через горы, где ни одного жандарма и в помине нет, я попаду в Безансон; там запишусь в солдаты, а не то так и в Швейцарию сбегу. Но только тогда уж ничего впереди, никогда уж не добиться мне звания священника, которое открывает дорогу ко всему».

Этот страх оказаться за одним столом с прислугой вовсе не был свойствен натуре Жюльена. Чтобы пробить себе дорогу, он пошел бы и не на такие испытания. Он почерпнул это отвращение непосредственно из «Исповеди» Руссо. Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. Собрание реляций великой армии и «Мемориал Святой

Елены» – вот три книги, в которых заключался его коран. Он готов был на смерть пойти за эти три книжки. Никаким другим книгам он не верил. Со слов старого полкового лекаря он считал, что все остальные книги на свете – сплошное вранье, и написаны они пройдохами, которым хотелось выслужиться.

Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков. Чтобы завоевать сердце старого аббата Шелана, от которого, как он ясно видел, зависело все его будущее, он выучил наизусть по-латыни весь Новый завет; он выучил таким же образом и книгу «О папе» де Местра, одинаково не веря ни той, ни другой.

Словно по обоюдному согласию, Сорель и его сын не заговаривали больше друг с другом в течение этого дня. К вечеру Жюльен отправился к кюре на урок богословия; однако он решил не поступать опрометчиво и ничего не сказал ему о том необыкновенном предложении, которое сделали его отцу. «А вдруг это какая-нибудь ловушка? – говорил он себе. – Лучше сделать вид, что я просто забыл об этом».

На другой день рано утром г-н де Реналь послал за стариком Сорелем, и тот, заставив подождать себя часок-другой, наконец явился и, еще не переступив порога, стал отвешивать поклоны и рассыпаться в извинениях. После долгих выпрашиваний обиняками Сорель убедился, что его сын будет обедать с хозяином и с хозяйкой, а в те дни, когда у них будут гости, – отдельно, в детской, с детьми. Видя, что господину мэру прямо-таки не терпится заполучить к себе его сына, изумленный и преисполненный недоверия Сорель становился все более и более придирчивым и, наконец, потребовал, чтобы ему показали комнату, где будет спать его сын. Это оказалась большая, очень прилично обставленная комната, и как раз при них туда уже перетаскивали кровати троих детей.

Это обстоятельство словно что-то прояснило для старого крестьянина; он тотчас же с уверенностью потребовал, чтобы ему показали одежду, которую получит его сын. Г-н де Реналь открыл бюро и вынул сто франков.

– Вот деньги: пусть ваш сын сходит к господину Дюрану, суконщику, и закажет себе черную пару.

– А коли я его от вас заберу, – сказал крестьянин, вдруг позабыв все свои почтительные ужимки, – эта одежда ему останется?

– Конечно.

– Ну, так, – медленно протянул Сорель. – Теперь, значит, нам остается столкнуться только об одном: сколько жалованья вы ему положите.

– То есть как? – воскликнул г-н де Реналь. – Мы же покончили с этим еще вчера: я даю ему триста франков; думаю, что этого вполне достаточно, а может быть, даже и многовато.

– Вы так предлагали, я с этим не спору, – еще более медленно промолвил старик Сорель и вдруг с какой-то гениальной прозорливостью, которая может удивить только того, кто не знает наших франшконтейских крестьян, добавил, пристально глядя на г-на де Реналья: – В другом месте мы найдем и получше.

При этих словах лицо мэра перекошилось. Но он тотчас же овладел собой, и, наконец, после весьма мудреного разговора, который занял добрых два часа и где ни одного слова не было сказано зря, крестьянская хитрость взяла верх над хитростью богача, который ведь не кормится ею. Все многочисленные пункты, которыми определялось новое существование Жюльена, были твердо установлены; жалованье его не только было повышено до четырехсот франков в год, но его должны были уплачивать вперед первого числа каждого месяца.

– Ладно. Я дам ему тридцать пять франков, – сказал г-н де Реналь.

– Для круглого счета такой богатый и щедрый человек, как господин наш мэр, – угодливо подхватил старик, – уж не поскупится дать и тридцать шесть франков.

– Хорошо, – сказал г-н де Реналь, – но на этом и кончим.

Гнев, охвативший его, придал на сей раз его голосу нужную твердость. Сорель понял, что нажимать больше нельзя. И тут уже перешел в наступление г-н де Реналь. Он ни в коем случае не соглашался отдать эти тридцать шесть франков за первый месяц старику Сорелю, которому очень хотелось получить их за сына. У г-на де Реналья между тем мелькнула мысль, что ведь ему придется рассказать

жене, какую роль он вынужден был играть в этой сделке.

– Верните мне мои сто франков, которые я вам дал, – сказал он с раздражением. – Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном и возьму ему сукна на костюм.

После этого резкого выпада Сорель почел благоразумным рассыпаться в заверениях почтительности; на это ушло добрых четверть часа. В конце концов, видя, что больше уж ему ничего не выжать, он, кланяясь, пошел к выходу. Последний его поклон сопровождался словами:

– Я пришлю сына в замок.

Так горожане, опекаемые г-ном мэром, называли его дом, когда хотели угодить ему.

Вернувшись к себе на лесопилку, Сорель, как ни старался, не мог найти сына. Полный всяческих опасений и не зная, что из всего этого получится, Жюльен ночью ушел из дому. Он решил спрятать в надежное место свои книги и свой крест Почетного легиона. Он отнес все это к своему приятелю Фуке, молодому лесоторговцу, который жил высоко в горах, возвышавшихся над Верьером.

Едва только он появился: «Ах ты, проклятый лентяй! – заорал на него отец. – Хватит ли у тебя совести перед богом заплатить мне хоть за кормежку, на которую я для тебя тратился столько лет? Забирай свои лохмотья и марш к господину мэру».

Жюльен, удивляясь, что его не поколотили, поторопился уйти. Но, едва скрывшись с глаз отца, он замедлил шаг. Он решил, что, если уж ему приходится разыгрывать из себя святошу, надо по дороге зайти в церковь.

Вас удивляет это словцо? Но прежде чем он дошел до этого ужасного слова, душе юного крестьянина пришлось проделать немалый путь.

С самого раннего детства, после того как он однажды увидел драгун из шестого полка в длинных белых плащах, с черногривыми касками на головах, – драгуны эти возвращались из Италии, и лошади их стояли у коновязи перед решетчатым

окошком его отца, – Жюльен бредил военной службой. Потом, уже подростком, он слушал, замирая от восторга, рассказы старого полкового лекаря о битвах на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи и замечал пламенные взгляды, которые бросал старик на свой крест.

Но когда Жюльену было четырнадцать лет, в Верьере начали строить церковь, которую для такого маленького городишка можно было назвать великолепной. У нее были четыре мраморные колонны, которые поразили Жюльена; о них потом разнеслась слава по всему краю, ибо они-то и посеяли смертельную вражду между мировым судьей и молодым священником, присланным из Безансона и считавшимся шпионом иезуитского общества. Мировой судья из-за этого чуть было не лишился места, так по крайней мере утверждали все. Ведь пришло же ему в голову завести ссору с этим священником, который каждые две недели отправлялся в Безансон, где он, говорят, имел дело с самим его высокопреосвященством, епископом.

Между тем мировой судья, человек многосемейный, вынес несколько приговоров, которые показались несправедливыми: все они были направлены против тех из жителей городка, кто почитывал «Конститюсьонель». Победа осталась за благомыслящими. Дело шло, в сущности, о грошовой сумме, что-то около трех или пяти франков, но одним из тех, кому пришлось уплатить этот небольшой штраф, был гвоздарь, крестный Жюльена. Вне себя от ярости этот человек поднял страшный крик: «Вишь, как оно все перевернулось-то! И подумать только, что вот уже лет двадцать с лишним мирового судью все считали честным человеком!» А полковой лекарь, друг Жюльена, к этому времени уже умер.

Внезапно Жюльен перестал говорить о Наполеоне: он заявил, что собирается стать священником; на лесопилке его постоянно видели с латинской Библией в руках, которую ему дал кюре; он заучивал ее наизусть. Добрый старик, изумленный его успехами, проводил с ним целые вечера, наставляя его в богословии. Жюльен не позволял себе обнаруживать перед ним никаких иных чувств, кроме благочестия. Кто бы мог подумать, что это юное девическое личико, такое бледненькое и кроткое, таило непоколебимую решимость вытерпеть, если понадобится, любую пытку, лишь бы пробить себе дорогу!

Пробить дорогу для Жюльена прежде всего означало вырваться из Верьера; родину свою он ненавидел. Все, что он видел здесь, леденило его воображение.

С самого раннего детства с ним не раз случалось, что его вдруг мгновенно охватывало страстное воодушевление. Он погружался в восторженные мечты о том, как его будут представлять парижским красавицам, как он сумеет привлечь их внимание каким-нибудь необычайным поступком. Почему одной из них не полюбит его? Ведь Бонапарта, когда он был еще беден, любила же блестящая госпожа де Богарнэ! В продолжение многих лет не было, кажется, в жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Эта мысль утешала его в его несчастьях, которые ему казались ужасными, и удваивала его радость, когда ему случалось чему-нибудь радоваться.

Постройка церкви и приговоры мирового судьи внезапно открыли ему глаза; ему пришла в голову одна мысль, с которой он носился как одержимый в течение нескольких недель, и, наконец, она завладела им целиком с той непреодолимой силой, какую обретает над пламенной душой первая мысль, которая кажется ей ее собственным открытием.

«Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе перед иноплеменным нашествием; военная доблесть в то время была необходима, и она была в моде. А теперь священник в сорок лет получает жалованья сто тысяч франков, то есть ровно в три раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Им нужны люди, которые помогали бы им в их работе. Вот, скажем, наш мировой судья: такая светлая голова, такой честный был до сих пор старик, и от страха, что он может навлечь на себя неудовольствие молодого тридцатилетнего викария, он покрывает себя бесчестьем! Надо стать попом».

Однажды, в разгаре этого своего новообретенного благочестия, когда он уже два года изучал богословие, Жюльен вдруг выдал себя внезапной вспышкой того огня, который пожирал его душу. Это случилось у г-на Шелана; на одном обеде, в кругу священников, которым добряк кюре представил его как истинное чудо премудрости, он вдруг с жаром стал превозносить Наполеона. Чтобы наказать себя, он привязал к груди правую руку, притворившись, будто вывихнул ее, поворачивая еловое бревно, и носил ее привязанной в этом неудобном положении ровно два месяца. После этой кары, которую он сам себе изобрел, он простил себя. Вот каков был этот девятнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему от силы можно было дать семнадцать, который теперь с маленьким узелком под мышкой входил под своды великолепной верьерской церкви.

Там было темно и пусто. По случаю минувшего праздника все окна были занавешены темно-красной материей, благодаря чему солнечные лучи приобретали какой-то ослепительный оттенок, величественный и в то же время благолепный. Жюльена охватил трепет. Он был один в церкви. Он уселся на скамью, которая показалась ему самой красивой: на ней был герб г-на де Реналея.

На скамеечке для коленопреклонений Жюльен заметил обрывок печатной бумаги, который словно был нарочно положен так, чтобы его прочли. Жюльен поднес его к глазам и увидал:

«Подробности казни и последних минут жизни Луи Жанреля, казненного в Безансоне сего...»

Бумажка была разорвана. На другой стороне уцелели только два первых слова одной строчки, а именно: «Первый шаг...»

– Кто же положил сюда эту бумажку? – сказал Жюльен. – Ах, несчастный! – добавил он со вздохом. – А фамилия его кончается так же, как и моя... – И он скомкал бумажку.

Когда Жюльен выходил, ему показалось, что на земле около кропильницы кровь – это была разбрызганная святая вода, которую отсвет красных занавесей делал похожей на кровь.

Наконец, Жюльену стало стыдно своего тайного страха.

«Неужели я такой трус? – сказал он себе. – К оружию!»

Этот призыв, так часто повторявшийся в рассказах старого лекаря, казался Жюльену героическим. Он повернулся и быстро зашагал к дому г-на де Реналея.

Однако, несмотря на всю свою великолепную решимость, едва только он увидал в двадцати шагах перед собой этот дом, как его охватила непобедимая робость. Чугунная решетчатая калитка была открыта; она показалась ему верхом великолепия. Надо было войти в нее.

Но не только у Жюльена сжималось сердце оттого, что он вступал в этот дом. Г-жа де Реналь при ее чрезвычайной застенчивости была совершенно подавлена мыслью о том, что какой-то чужой человек, в силу своих обязанностей, всегда будет теперь стоять между нею и детьми. Она привыкла к тому, что ее сыновья спят около нее, в ее комнате. Утром она пролила немало слез, когда у нее на глазах перетаскивали их маленькие кровати в комнату, которая была предназначена для гувернера. Тщетно упрашивала она мужа, чтобы он разрешил перенести обратно к ней хотя бы только кровать самого младшего, Станислава-Ксавье.

Свойственная женщинам острота чувств у г-жи де Реналь доходила до крайности. Она уже рисовала себе отвратительного, грубого, взлохмаченного субъекта, которому разрешается орать на ее детей только потому, что он знает латынь. И за этот варварский язык он еще будет пороть ее сыновей.

VI. Неприятность

Non so pi? cosa son cosa faccio.

Mozart, «Figaro»[4 - Не пойму, что творится со мною. Моцарт, «Свадьба Фигаро» (ит.).]

Госпожа де Реналь с живостью и грацией, которые были так свойственны ей, когда она не опасалась, что на нее кто-то смотрит, выходила из гостиной через стеклянную дверь в сад, и в эту минуту взгляд ее упал на стоявшего у подъезда молодого крестьянского паренька, совсем еще мальчика, с очень бледным и заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубашке и держал под мышкой очень опрятную курточку из лилового ратина.

Лицо у этого юноши было такое белое, а глаза такие кроткие, что слегка романтическому воображению г-жи де Реналь представилось сперва, что это, быть может, молоденькая переодетая девушка, которая пришла просить о чем-нибудь господина мэра. Ей стало жалко бедняжку, которая стояла у подъезда и, по-видимому, не решалась протянуть руку к звонку. Г-жа де Реналь направилась к ней, забыв на минуту о том огорчении, которое причиняла ей мысль о гувернере. Жюльен стоял лицом к входной двери и не видел, как она подошла.

Он вздрогнул, услышав над самым своим ухом ласковый голос:

– Что вы хотите, дитя мое?

Жюльен быстро обернулся и, потрясенный этим полным участия взглядом, забыл на миг о своем смущении; он смотрел на нее, изумленный ее красотой, и вдруг забыл все на свете, забыл даже, зачем он пришел сюда. Г-жа де Реналь повторила свой вопрос.

– Я пришел сюда потому, что я должен здесь быть воспитателем, сударыня, – наконец вымолвил он, весь вспыхнув от стыда за свои слезы и стараясь незаметно вытереть их.

Госпожа де Реналь от удивления не могла выговорить ни слова; они стояли совсем рядом и глядели друг на друга. Жюльену еще никогда в жизни не приходилось видеть такого нарядного существа, а еще удивительнее было то, что эта женщина с белоснежным лицом говорила с ним таким ласковым голосом. Г-жа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по этим сначала ужасно бледным, а теперь вдруг ярко зардевшимся щекам крестьянского мальчика. И вдруг она расхохоталась безудержно и весело, совсем как девчонка. Она покатывалась со смеху над самой собой и просто опомниться не могла от счастья. Как! Так вот он каков, этот гувернер! А она-то представляла себе грязного неряху-попа, который будет орать на ее детей и сечь их розгами.

– Как, сударь, – промолвила она наконец, – вы знаете латынь?

Это обращение «сударь» так удивило Жюльена, что он даже на минуту опешил.

– Да, сударыня, – робко ответил он.

Госпожа де Реналь была в таком восторге, что решилась сказать Жюльену:

– А вы не будете очень бранить моих мальчиков?

– Я? Бранить? – переспросил удивленный Жюльен. – А почему?

– Нет, право же, сударь, – добавила она после маленькой паузы, и в голосе ее звучало все больше и больше волнения, – вы будете добры к ним, вы мне это обещаете?

Услышать еще раз, что его совершенно всерьез величает «сударь» такая нарядная дама, – это поистине превосходило все ожидания Жюльена: какие бы воздушные замки он ни строил себе в детстве, он всегда был уверен, что ни одна знатная дама не удостоит его разговором, пока на нем не будет красоваться роскошный военный мундир. А г-жа де Реналь, со своей стороны, была введена в полнейшее заблуждение нежным цветом лица, большими черными глазами Жюльена и его красивыми кудрями, которые на этот раз вились еще больше обычного, потому что он по дороге, чтобы освежиться, окунул голову в бассейн городского фонтана. И вдруг, к ее неопишуемой радости, это воплощение девической застенчивости и оказалось тем страшным гувернером, которого она, содрогаясь за своих детей, рисовала себе грубым чудовищем! Для такой безмятежной души, какою была г-жа де Реналь, столь внезапный переход от того, чего она так боялась, к тому, что она теперь увидела, был целым событием. Наконец она пришла в себя. Она с удивлением обнаружила, что стоит у подъезда своего дома с этим молодым человеком в простой рубашке, и совсем рядом с ним.

– Идемте, сударь, – сказала она несколько смущенным тоном.

Еще ни разу в жизни г-же де Реналь не случилось испытывать такого сильного волнения, вызванного столь исключительно приятным чувством, никогда еще не бывало с ней, чтобы мучительное беспокойство и страхи сменялись вдруг такой чудесной явью. Значит, ее хорошенькие мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в руки грязного, сварливого попа! Когда она вошла в переднюю, она обернулась к Жюльену, который робко шагал позади. На лице его при виде такого роскошного дома изобразилось глубокое изумление, и от этого он показался еще милее г-же де Реналь. Она просто глазам своим не верила, почему-то она всегда представляла себе гувернера не иначе как в черном костюме.

– Но неужели это правда, сударь? – промолвила она снова, останавливаясь и замирая от страха. (А что, если это вдруг окажется ошибкой, – а она-то так радовалась, поверив этому!) – Вы в самом деле знаете латынь?

Эти слова задели гордость Жюльена и вывели его из того сладостного забытья, в котором он пребывал вот уже целые четверть часа.

– Да, сударыня, – ответил он, стараясь принять как можно более холодный вид. – Я знаю латынь не хуже, чем господин кюре, а иногда он по своей доброте даже говорит, что я знаю лучше его.

Госпоже де Реналь показалось теперь, что у Жюльена очень злое лицо, – он стоял в двух шагах от нее. Она подошла к нему и сказала вполголоса:

– Правда, ведь вы не станете в первые же дни сечь моих детей, даже если они и не будут знать уроков?

Ласковый, почти умоляющий тон этой прекрасной дамы так подействовал на Жюльена, что все его намерения поддержать свою репутацию латиниста мигом улетучились. Лицо г-жи де Реналь было так близко, у самого его лица, он вдыхал аромат летнего женского платья, а это было нечто столь необычайное для бедного крестьянина, что Жюльен покраснел до корней волос и пролепетал едва слышным голосом:

– Не бойтесь ничего, сударыня, я во всем буду вас слушаться.

И вот только тут, в ту минуту, когда весь ее страх за детей окончательно рассеялся, г-жа де Реналь с изумлением заметила, что Жюльен необыкновенно красив. Его тонкие, почти женственные черты, его смущенный вид не казались смешными этой женщине, которая и сама отличалась крайней застенчивостью; напротив, мужественный вид, который обычно считают необходимым качеством мужской красоты, только испугал бы ее.

– Сколько вам лет, сударь? – спросила она Жюльена.

– Скоро будет девятнадцать.

– Моему старшему одиннадцать, – продолжала г-жа де Реналь, теперь уже совершенно успокоившись. – Он вам почти товарищ будет, вы его всегда сможете уговорить. Раз как-то отец вздумал прибить его – ребенок потом был болен целую неделю, а отец его только чуть-чуть ударил.

«А я? – подумал Жюльен. – Какая разница! Вчера еще отец отколотил меня. Какие они счастливые, эти богачи!»

Госпожа де Реналь уже старалась угадать малейшие оттенки того, что происходило в душе юного гувернера, и это мелькнувшее на его лице выражение грусти она сочла за робость. Ей захотелось подбодрить его.

– Как вас зовут, сударь? – спросила она таким подкупающим тоном и с такой приветливостью, что Жюльен весь невольно проникся ее очарованием, даже не отдавая себе в этом отчета.

– Меня зовут Жюльен Сорель, сударыня; мне страшно потому, что я первый раз в жизни вступаю в чужой дом; я нуждаюсь в вашем покровительстве и еще, чтобы вы прощали мне очень многое на первых порах. Я никогда не ходил в школу, я был слишком беден для этого; и я ни с кем никогда не говорил, исключая моего родственника, полкового лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, и нашего кюре, господина Шелана. Он скажет вам всю правду обо мне. Мои братья вечно колотили меня; не верьте им, если они будут вам на меня наговаривать; простите меня, если я в чем ошибусь; никакого дурного умысла у меня быть не может.

Жюльен мало-помалу преодолевал свое смущение, произнося эту длинную речь; он, не отрываясь, смотрел на г-жу де Реналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно является природным даром, а в особенности когда существо, обладающее этим даром, не подозревает о нем. Жюльен, считавший себя знатоком по части женской красоты, готов был поклясться сейчас, что ей никак не больше двадцати лет. И вдруг ему пришла в голову дерзкая мысль – поцеловать у нее руку. Он тут же испугался этой мысли, но в следующее же мгновение сказал себе: «Это будет трусость с моей стороны, если я не совершу того, что может принести мне пользу и сбить немножко презрительное высокомерие, с каким, должно быть, относится эта прекрасная дама к бедному мастеровому, только что оставившему пилу». Быть может, Жюльен расхрабрился еще и потому, что ему пришло на память выражение «хорошенький мальчик», которое он вот уже полгода слышал по воскресеньям от молодых девиц. Между тем, пока он боролся так сам с собой, г-жа де Реналь старалась объяснить ему в нескольких словах, каким образом ему следует держать себя на первых порах с детьми. Усилие, к которому принуждал себя Жюльен, заставило его опять сильно побледнеть; он сказал каким-то неестественным тоном:

– Сударыня, я никогда не буду бить ваших детей, клянусь вам перед богом.

И, произнося эти слова, он осмелился взять руку г-жи де Реналь и поднес ее к губам. Ее очень удивил этот жест, и только потом уж, подумав, она возмутилась. Было очень жарко, и ее обнаженная рука, прикрытая только шалью, открылась чуть ли не до плеча, когда Жюльен поднес ее к своим губам. Через несколько секунд г-жа де Реналь уже стала упрекать себя за то, что не возмутилась сразу.

Господин де Реналь, услышав голоса в передней, вышел из своего кабинета и обратился к Жюльену с тем величественным и отеческим видом, с каким он совершал бракосочетания в мэрии.

– Мне необходимо поговорить с вами, прежде чем вас увидят дети, – сказал он.

Он провел Жюльена в комнату и удержал жену, которая хотела оставить их вдвоем. Затворив дверь, г-н де Реналь важно уселся.

– Господин кюре говорил мне, что вы добропорядочный юноша. Вас здесь все будут уважать, и если я буду вами доволен, я помогу вам в будущем прилично устроиться. Желательно, чтобы вы отныне не виделись больше ни с вашими родными, ни с друзьями, ибо их манеры не подходят для моих детей. Вот вам тридцать шесть франков за первый месяц, но вы мне дадите слово, что из этих денег ваш отец не получит ни одного су.

Господин де Реналь не мог простить старику, что тот сумел перехитрить его в этом деле.

– Теперь, сударь, – я уже всем приказал называть вас «сударь», и вы сами увидите, какое это преимущество – попасть в дом к порядочным людям, – так вот, теперь, сударь, неудобно, чтобы дети увидели вас в куртке. Кто-нибудь из прислуги видел его? – спросил г-н де Реналь, обращаясь к жене.

– Нет, мой друг, – отвечала она с видом глубокой задумчивости.

– Тем лучше. Наденьте-ка вот это, – сказал он удивленному юноше, протягивая ему собственный сюртук. – Мы сейчас пойдем с вами к суконщику, господину Дюрану.

Часа через полтора г-н де Реналь вернулся с новым гувернером, одетым в черное с ног до головы, и увидел, что жена его все еще сидит на прежнем месте. У нее стало спокойнее на душе при виде Жюльена; глядя на него, она переставала его бояться. А Жюльен уже и не думал о ней; несмотря на все его недоверие к жизни и к людям, душа его в эту минуту была, в сущности, совсем как у ребенка: ему казалось, что прошли уже годы с той минуты, когда он, всего три часа тому назад, сидел, дрожа от страха, в церкви. Вдруг он заметил холодное выражение лица г-жи де Реналь и понял, что она сердится за то, что он осмелился поцеловать ее руку. Но гордость, которая поднималась в нем оттого, что он чувствовал на себе новый и совершенно непривычный для него костюм, до такой степени лишала его всякого самообладания, а вместе с тем ему так хотелось скрыть свою радость, что все его движения отличались какой-то почти исступленной, судорожной порывистостью. Г-жа де Реналь следила за ним изумленным взором.

– Побольше солидности, сударь, – сказал ему г-н де Реналь, – если вы желаете пользоваться уважением моих детей и прислуги.

– Сударь, – отвечал Жюльен, – меня стесняет эта новая одежда: я бедный крестьянин и никогда ничего не носил, кроме куртки. Я хотел бы, с вашего разрешения, удалиться в свою комнату, чтобы побыть одному.

– Ну, как ты находишь это новое приобретение? – спросил г-н де Реналь свою супругу.

Повинуясь какому-то почти невольному побуждению, в котором она, конечно, и сама не отдавала себе отчета, г-жа де Реналь скрыла правду от мужа.

– Я не в таком уж восторге от этого деревенского мальчугана и боюсь, как бы все эти ваши любезности не сделали из него нахала: тогда не пройдет и месяца, как вам придется прогнать его.

– Ну, что ж, и прогоним. Это обойдется мне в какую-нибудь сотню франков, а в Верьере меж тем привыкнут, что у детей господина де Реналья есть гувернер. А этого нельзя добиться, если оставить его в куртке мастерового. Ну, а если прогоним, ясное дело, та черная пара, отрез на которую я взял сейчас у суконщика, останется у меня. Отдам ему только вот эту, что в мастерской нашлась: я его сразу в нее и обрядил.

Жюльен пробыл с час у себя в комнате, но для г-жи де Реналь этот час пролетел, как мгновение; как только детям сообщили, что у них теперь будет гувернер, они засыпали мать вопросами. Наконец появился Жюльен. Это был другой человек: мало сказать, что он держался солидно, – нет, это была сама воплощенная солидность. Его представили детям, и он обратился к ним таким тоном, что даже сам г-н де Реналь, и тот удивился.

– Я здесь для того, господа, – сказал он им, заканчивая свою речь, – чтобы обучать вас латыни. Вы знаете, что значит отвечать урок. Вот перед вами Священное писание. – И он показал им маленький томик, в 32-ю долю листа, в черном переплете. – Здесь рассказывается жизнь господина нашего Иисуса Христа, эта святая книга называется Новым заветом. Я буду постоянно спрашивать вас по этой книге ваши уроки, а теперь спросите меня вы, чтобы я вам ответил свой урок.

Старший из детей, Адольф, взял книгу.

– Откройте ее наугад, – продолжал Жюльен, – и скажите мне первое слово любого стиха. Я буду вам отвечать наизусть эту святую книгу, которая всем нам должна служить примером в жизни, и не остановлюсь, пока вы сами не остановите меня.

Адольф открыл книгу и прочел одно слово, и Жюльен стал без запинки читать на память всю страницу, и с такой легкостью, как если бы он говорил на родном языке. Г-н де Реналь с торжеством поглядывал на жену. Дети, видя удивление родителей, смотрели на Жюльена широко раскрытыми глазами. К дверям гостиной подошел лакей; Жюльен продолжал говорить по-латыни. Лакей сначала остановился как вкопанный, постоял минутку и исчез.

Затем в дверях появились горничная и кухарка; Адольф уже успел открыть книгу в восьми местах, и Жюльен читал наизусть все с такой же легкостью.

– Ах, боже ты мой! Что за красавчик-попик! Да какой молоденький! – невольно воскликнула кухарка, добрая и чрезвычайно набожная девушка.

Самолюбие г-на де Реналья было несколько встревожено: уж не собираясь проэкзаменовать своего нового гувернера, он силился отыскать в памяти хотя бы несколько латинских слов; наконец, ему удалось припомнить один стих из

Горация. Но Жюльен ничего не знал по-латыни, кроме своей Библии. И он ответил, нахмутив брови:

– Священное звание, к которому я себя готовлю, воспрещает мне читать такого нечестивого поэта.

Господин де Реналь процитировал еще немало стихов, якобы принадлежащих Горацию, и начал объяснять детям, кто такой был этот Гораций, но мальчики, разинув рты от восхищения, не обращали ни малейшего внимания на то, что им говорил отец. Они смотрели на Жюльена.

Видя, что слуги продолжают стоять в дверях, Жюльен решил, что следует еще продолжить испытание.

– Ну, а теперь, – обратился он к самому младшему, – надо, чтобы Станислав-Ксавье тоже предложил мне какой-нибудь стих из Священного писания.

Маленький Станислав, просияв от гордости, прочел с грехом пополам первое слово какого-то стиха, и Жюльен прочитал на память всю страницу. Словно нарочно для того, чтобы дать г-ну де Реналю насладиться своим торжеством, в то время как Жюльен читал эту страницу, вошли г-н Вально, владелец превосходных нормандских лошадей, и за ним г-н Шарко де Можирон, помощник префекта округа. Эта сцена утвердила за Жюльеном титул «сударь», – отныне даже слуги не дерзали оспаривать его право на это.

Вечером весь Верьер сбежался к мэру, чтобы посмотреть на это чудо. Жюльен отвечал всем с мрачным видом, который вынуждал собеседников держаться на расстоянии. Слава о нем так быстро распространилась по всему городу, что не прошло и нескольких дней, как г-н де Реналь, опасаясь, как бы его кто-нибудь не переманил, предложил ему подписать с ним обязательство на два года.

– Нет, сударь, – холодно отвечал Жюльен. – Если вам вздумается прогнать меня, я вынужден буду уйти. Обязательство, которое связывает только меня, а вас ни к чему не обязывает, – это неравная сделка. Я отказываюсь.

Жюльен сумел так хорошо себя поставить, что не прошло и месяца с тех пор, как он появился в доме, как уже сам г-н де Реналь стал относиться к нему с уважением. Кюре не поддерживал никаких отношений с господами де Реналем и

Вально, и никто уж не мог выдать им давнюю страсть Жюльена к Наполеону; сам же он говорил о нем не иначе как с омерзением.

VII. Избирательное сродство

Они не способны тронуть сердце, не причинив ему боль.

Современный автор

Дети обожали его; он не питал к ним никакой любви; мысли его были далеко от них. Что бы ни проделывали малыши, он никогда не терял терпения. Холодный, справедливый, бесстрастный, но тем не менее любимый, – ибо его появление все же как-то рассеяло скуку в доме – он был хорошим воспитателем. Сам же он испытывал лишь ненависть и отвращение к этому высшему свету, куда он был допущен, – правда, допущен только к самому краешку стола, чем, быть может, и объяснялись его ненависть и отвращение. Иногда во время какого-нибудь званого обеда он едва сдерживал свою ненависть ко всему, что его окружало. Как-то раз в праздник св. Людовика, слушая за столом разглагольствования г-на Вально, Жюльен чуть было не выдал себя: он убежал в сад под предлогом, что ему надо взглянуть на детей.

«Какое восхваление честности! – мысленно восклицал он. – Можно подумать, что это единственная добродетель в мире, а в то же время какое низкопоклонство, какое пресмыкательство перед человеком, который уж наверняка удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как распоряжается имуществом бедняков. Готов биться об заклад, что он наживается даже на тех средствах, которые отпускает казна на этих несчастных подкидышей, чья бедность поистине должна быть священной и неприкосновенной. Ах, чудовища! Чудовища! Ведь и сам-то я, да, я тоже вроде подкидыша: все меня ненавидят – отец, братья, вся семья».

Незадолго до этого праздника св. Людовика Жюльен, повторяя на память молитвы, прогуливался в небольшой роще, расположенной над Аллеей Верности и называвшейся Бельведер, как вдруг на одной глухой тропинке увидел издали своих братьев; ему не удалось избежать встречи с ними. Его прекрасный черный костюм, весь его чрезвычайно благопристойный вид и то совершенно искреннее

презрение, с каким он относился к ним, вызвали такую злобную ненависть у этих грубых мастеровых, что они набросились на него с кулаками и избили так, что он остался лежать без памяти, весь в крови. Г-жа де Реналь, прогуливаясь в обществе г-на Вально и помощника префекта, случайно зашла в эту рошу и, увидев Жюльена распростертым на земле, решила, что он убит. Она пришла в такое смятение, что у г-на Вально шевельнулось чувство ревности.

Но это была преждевременная тревога с его стороны. Жюльен считал г-жу де Реналь красавицей, но ненавидел ее за ее красоту: ведь это было препятствие на его пути к преуспеянию, и он чуть было не споткнулся о него. Он всячески избегал разговаривать с нею, чтобы у нее скорее изгладился из памяти тот восторженный порыв, который толкнул его в первый день поцеловать у нее руку.

Элиза, горничная г-жи де Реналь, не замедлила влюбиться в юного гувернера: она постоянно говорила о нем со своей госпожой. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из лакеев. Как-то однажды он услышал, как этот человек упрекал Элизу: «Вы и говорить-то со мной больше не желаете с тех пор, как этот поганый гувернер появился у нас в доме». Жюльен отнюдь не заслуживал подобного эпитета; но, будучи красивым юношей, он инстинктивно удвоил заботы о своей наружности. Ненависть г-на Вально тоже удвоилась. Он громогласно заявил, что юному аббату не подобает такое кокетство. Жюльен в своем черном долгополом сюртуке был похож на монаха, разве что сутаны не хватало.

Госпожа де Реналь заметила, что Жюльен частенько разговаривает с Элизой, и дозналась, что причиной тому является крайняя скудость его гардероба. У него было так мало белья, что ему приходилось то и дело отдавать его в стирку, – за этими-то маленькими одолжениями он и обращался к Элизе. Эта крайняя бедность, о которой она и не подозревала, растрогала г-жу де Реналь; ей захотелось сделать ему подарок, но она не решалась, и этот внутренний разлад был первым тяжелым чувством, которое причинил ей Жюльен. До сих пор имя Жюльена и ощущение чистой духовной радости сливались для нее воедино. Мучаясь мыслью о бедности Жюльена, г-жа де Реналь однажды сказала мужу, что следовало бы сделать Жюльену подарок, купить ему белье.

– Что за глупости! – отвечал он. – С какой стати делать подарки человеку, которым мы довольны и который нам отлично служит? Вот если бы мы заметили, что он отлынивает от своих обязанностей, тогда бы следовало поощрить его к

усердию.

Госпоже де Реналь показался унижительным такой взгляд на вещи; однако до появления Жюльена она бы даже не заметила этого. Теперь, всякий раз, едва только взгляд ее падал на безукоризненно опрятный, хоть и весьма непритязательный костюм юного аббата, у нее невольно мелькала мысль: «Бедный мальчик, да как же это он ухитряется?..»

И постепенно все то, чего недоставало Жюльену, стало вызывать у нее только жалость к нему и отнюдь не коробило ее.

Госпожа де Реналь принадлежала к числу тех провинциалок, которые на первых порах знакомства легко могут показаться глупенькими. У нее не было никакого житейского опыта, и она совсем не старалась блеснуть в разговоре. Одаренная тонкой и гордой душой, она в своем безотчетном стремлении к счастью, свойственном всякому живому существу, в большинстве случаев просто не замечала того, что делали эти грубые люди, которыми ее окружила судьба.

Будь у нее хоть какое-нибудь образование, она, несомненно, выделялась бы и своими природными способностями, и живостью ума, но в качестве богатой наследницы она воспитывалась у монахинь, пламенно приверженных «Святому сердцу Иисусову» и воодушевленных кипучей ненавистью ко всем тем французам, которые считались врагами иезуитов. У г-жи де Реналь оказалось достаточно здравого смысла, чтобы очень скоро забыть весь тот вздор, которому ее учили в монастыре, но она ничего не обрела взамен и так и жила в полном невежестве. Лесть, которую ей с юных лет расточали как богатой наследнице, и несомненная склонность к пламенному благочестию способствовали тому, что она стала замыкаться в себе. На вид она была необыкновенно уступчива и, казалось, совершенно отреклась от своей воли, и верьерские мужья не упускали случая ставить это в пример своим женам, что составляло предмет гордости г-на де Реналья; на самом же деле ее обычное душевное состояние было следствием глубочайшего высокомерия. Какая-нибудь принцесса, которую вспоминают как пример гордыни, и та проявляла несравненно больше внимания к тому, что делали окружающие ее придворные, чем проявляла эта такая кроткая и скромная с виду женщина ко всему, что бы ни сделал или ни сказал ее супруг. До появления Жюльена единственное, на что она, в сущности, обращала внимание, были ее дети. Их маленькие недомогания, их огорчения, их крохотные радости поглощали всю способность чувствовать у этой души. За всю свою жизнь г-жа де Реналь пылала любовью только к господу богу, когда

воспитывалась в монастыре Сердца Иисусова в Безансоне.

Хоть она и не снисходила до того, чтобы кому-нибудь говорить об этом, но достаточно было хотя бы легкого озноба или жара у одного из ее сыновей, чтобы она сразу же пришла в такое состояние, как если бы ребенок уже погиб. Грубый смех, пожимание плечами да какая-нибудь избитая фраза по поводу женской блажи – вот все, что она получала в ответ, когда в первые годы своего замужества в порыве откровенности пыталась поделиться своими чувствами с мужем. От такого рода шуточек, в особенности когда речь шла о болезни детей, у г-жи де Реналь сердце переворачивалось в груди. Вот что она обрела взамен угодливой и медоточивой лести иезуитского монастыря, где протекала ее юность. Горе воспитало ее. Гордость не позволяла ей признаться в этих огорчениях даже своей лучшей подруге, г-же Дервиль, и она пребывала в уверенности, что все мужчины таковы, как ее муж, как г-н Вально и помощник префекта Шарко де Можирон. Грубость и самое тупое равнодушие ко всему, что не имеет отношения к наживе, к чинам или крестам, слепая ненависть ко всякому неугоднему им суждению – все это казалось ей столь же естественным у представителей сильного пола, как то, что они ходят в сапогах и фетровой шляпе.

Но даже после стольких лет г-жа де Реналь все-таки не могла привыкнуть к этим толстосумам, среди которых ей приходилось жить.

Это-то и было причиной успеха юного крестьянина Жюльена. В симпатии к этой благородной и гордой душе она познала какую-то живую радость, сиявшую прелестью новизны.

Госпожа де Реналь очень скоро простила ему и его незнание самых простых вещей, которое скорей даже умиляло ее, и грубость манер, которую ей удавалось понемногу сглаживать. Она находила, что его стоило послушать, даже когда он говорил о чем-нибудь обыкновенном, ну хотя бы когда он рассказывал о несчастной собаке, которая, перебегая улицу, попала под быстро катившуюся крестьянскую телегу. Зрелище такого несчастья вызвало бы грубый хохот у ее супруга, а тут она видела, как страдальчески сдвигаются тонкие, черные и так красиво изогнутые брови Жюльена. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность – все это присуще только одному этому молоденькому аббату. И все то сочувствие и даже восхищение, которые пробуждаются в благородной душе этими высокими добродетелями, она теперь питала только к нему одному.

В Париже отношения Жюльена с г-жой де Реналь не замедлили бы разрешиться очень просто, но ведь в Париже любовь – это дитя романов. Юный гувернер и его робкая госпожа, прочитав три-четыре романа или послушав песенки в театре Жимназ, не преминули бы выяснить свои взаимоотношения. Романы научили бы их, каковы должны быть их роли, показали бы им примеры, коим надлежит подражать, и рано или поздно, возможно, даже без всякой радости, может быть, даже нехотя, но имея перед собой такой пример, Жюльен из тщеславия невольно последовал бы ему.

В каком-нибудь маленьком городке в Авейроне или в Пиренеях любая случайность могла бы ускорить развязку – таково действие знойного климата. А под нашим более сумрачным небом юноша-бедняк становится честолюбцем только потому, что его возвышенная натура заставляет его стремиться к таким радостям, которые стоят денег; он видит изо дня в день тридцатилетнюю женщину, искренне целомудренную, поглощенную заботами о детях и отнюдь не склонную искать в романах образцы для своего поведения. Все идет потихоньку, все в провинции совершается мало-помалу и более естественно.

Нередко, задумываясь о бедности юного гувернера, г-жа де Реналь способна была растрогаться до слез. И вот как-то раз Жюльен застал ее, когда она плакала.

– Ах, сударыня, уж не приключилось ли с вами какой беды?

– Нет, мой друг, – отвечала она ему. – Позовите детей и пойдемте гулять.

Она взяла его под руку и оперлась на него, что показалось Жюльену очень странным. Это было впервые, что она назвала его «мой друг».

К концу прогулки Жюльен заметил, что она то и дело краснеет. Она замедлила шаг.

– Вам, наверно, рассказывали, – заговорила она, не глядя на него, – что я единственная наследница моей тетки, которая очень богата и живет в Безансоне. Она постоянно посылает мне всякие подарки... А сыновья мои делают такие успехи... просто удивительные. Так вот я хотела попросить вас принять от меня маленький подарок в знак моей благодарности. Это просто так, сущие

пустяки, всего несколько луидоров вам на белье. Только вот... – добавила она, покраснев еще больше, и замолчала.

– Только что, сударыня? – спросил Жюльен.

– Не стоит, – прошептала она, опуская голову, – не стоит говорить об этом моему мужу.

– Я человек маленький, сударыня, но я не лакей, – отвечал Жюльен, гневно сверкая глазами, и, остановившись, выпрямился во весь рост. – Вы, конечно, не соизволили об этом подумать. Я бы считал себя ниже всякого лакея, если бы позволил себе скрыть от господина де Реналья что бы то ни было относительно моих денег.

Госпожа де Реналь чувствовала себя уничтоженной.

– Господин мэр, – продолжал Жюльен, – вот уже пять раз, с тех пор как я здесь живу, выдавал мне по тридцать шесть франков. Я хоть сейчас могу показать мою расходную книжку господину де Реналю, да хоть кому угодно, даже господину Вально, который меня терпеть не может.

После этой отповеди г-жа де Реналь шла рядом с ним бледная, взволнованная, и до самого конца прогулки ни тому, ни другому не удалось придумать какого-нибудь предлога, чтобы возобновить разговор.

Теперь уже полюбить г-жу де Реналь для гордого сердца Жюльена стало чем-то совершенно невыносимым; а она, она прониклась к нему уважением; она восхищалась им: как он ее отчитал! Как бы стараясь загладить обиду, которую она ему невольно нанесла, она теперь разрешила себе окружать его самыми нежными заботами. И новизна этих забот доставляла радость г-же де Реналь в течение целой недели. В конце концов ей удалось несколько смягчить гнев Жюльена, но ему и в голову не приходило заподозрить в этом что-либо похожее на личную симпатию.

«Вот они каковы, – говорил он себе, – эти богачи: втопчут тебя в грязь, а потом думают, что все это можно загладить какими-то ужимками».

Сердце г-жи де Реналь было так переполнено, и так оно еще было невинно, что она, несмотря на все свои благие решения не пускаться в откровенности, не могла не рассказать мужу о предложении, которое она сделала Жюльену, и о том, как оно было отвергнуто.

– Как! – вскричал в страшном негодовании г-н де Реналь. – И вы допустили, что вам отказал ваш слуга?

Госпожа де Реналь, возмущенная этим словом, попыталась было возражать.

– Я, сударыня, – отвечал он, – выражаюсь так, как соизволил выразиться покойный принц Конде, представляя своих камергеров молодой супруге. «Все эти люди, – сказал он, – наши слуги». Я вам читал это место из мемуаров де Безанваля, весьма поучительное для поддержания престижа. Всякий, кто не дворянин и живет у вас на жалованье, – это слуга ваш. Я с ним поговорю, с этим господином Жюльеном, и дам ему сто франков.

– Ах, друг мой! – промолвила, дрожа всем телом, г-жа де Реналь. – Ну хоть по крайней мере так, чтобы слуги не видели.

– Ну, еще бы! Они стали бы завидовать – и не без оснований, – сказал супруг, выходя из комнаты и раздумывая, не слишком ли велика сумма, которую он назвал.

Госпожа де Реналь до того была расстроена, что упала в кресло почти без чувств. «Теперь он постарается унижить Жюльена, и это по моей вине». Она почувствовала отвращение к мужу и закрыла лицо руками. Теперь уж она дала себе слово: никогда не пускаться с ним в откровенности.

Когда она увидела Жюльена, она вся задрожала, у нее так стеснило в груди, что она не могла выговорить ни слова. В замешательстве она взяла его за обе руки и крепко пожала их.

– Ну как, друг мой, – вымолвила она наконец, – довольны ли вы моим мужем?

– Как же мне не быть довольным! – отвечал Жюльен с горькой усмешкой. – Еще бы! Он дал мне сто франков.

Госпожа де Реналь смотрела на него словно в нерешительности.

– Идемте, дайте мне вашу руку, – внезапно сказала она с такой твердостью, какой до сих пор Жюльен никогда в ней не замечал.

Она решилась пойти с ним в книжную лавку, невзирая на то, что верьерский книготорговец слыл ужаснейшим либералом. Там она выбрала на десять луидоров несколько книг в подарок детям. Но все это были книги, которые, как она знала, хотелось иметь Жюльену. Она настояла, чтобы тут же, за прилавком, каждый из детей написал свое имя на тех книгах, которые ему достались. А в то время как г-жа де Реналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жюльена, он оглядывался по сторонам, удивляясь множеству книг, которые стояли на полках книжной лавки. Никогда еще он не решался войти в такое нечестивое место; сердце его трепетало. Он не только не догадывался о том, что творится в душе г-жи де Реналь, но вовсе и не думал об этом: он весь был поглощен мыслью, как бы ему придумать какой-нибудь способ раздобыть здесь несколько книг, не замарав своей репутации богослова. Наконец ему пришло в голову, что если за это взяться половчей, то, может быть, удастся внушить г-ну де Реналю, что для письменных упражнений его сыновей самой подходящей темой были бы жизнеописания знаменитых дворян здешнего края. После целого месяца стараний Жюльен наконец преуспел в своей затее, да так ловко, что спустя некоторое время он решился сделать другую попытку и однажды в разговоре с г-ном де Реналем намекнул ему на некую возможность, которая для высокородного мэра представляла немалое затруднение: речь шла о том, чтобы способствовать обогащению либерала – записаться абонентом в его книжную лавку. Г-н де Реналь вполне соглашался, что было бы весьма полезно дать его старшему сыну беглое представление *de visu* [5 - Наглядно, воочию (лат.).] о кое-каких произведениях, о которых может зайти разговор, когда он будет в военной школе; но Жюльен видел, что дальше этого г-н мэр не пойдет. Жюльен решил, что за этим, вероятно, что-то кроется, но что именно, он не мог догадаться.

– Я полагаю, сударь, – сказал он ему как-то раз, – что это, конечно, было бы до крайности непристойно, если бы такое доброе дворянское имя, как Реналь, оказалось в мерзких списках книготорговца.

Чело г-на де Реналья прояснилось.

– Да и для бедного студента-богослова, – продолжал Жюльен значительно более угодливым тоном, – тоже было бы худой славой, если бы как-нибудь невзначай открылось, что его имя значится среди абонентов книгопродавца, отпускающего книги на дом. Либералы смогут обвинить меня в том, что я брал самые что ни на есть гнусные книги, и – кто знает – они не постесняются приписать под моим именем названия этих мерзких книг.

Но тут Жюльен заметил, что дал маху. Он видел, как на лице мэра снова проступает выражение замешательства и досады. Он замолчал. «Ага, попался, теперь я его вижу насквозь», – заключил он про себя.

Прошло несколько дней, и вот как-то раз в присутствии г-на де Реналья старший мальчик спросил Жюльена, что это за книга, о которой появилось объявление в «Котидьен».

– Чтобы не давать этим якобинцам повода для зубоскальства, а вместе с тем дать мне возможность ответить на вопрос господина Адольфа, можно было бы записать абонентом в книжную лавку кого-либо из ваших слуг, скажем, лакея.

– Вот это недурно придумано, – подхватил, явно обрадовавшись, г-н де Реналь.

– Но, во всяком случае, надо будет принять меры, – продолжал Жюльен с серьезной, чуть ли не горестной миной, которая весьма подходит некоторым людям, когда они видят, что цель, к которой они так долго стремились, достигнута, – надо будет принять меры, чтобы слуга ваш ни в коем случае не брал никаких романов. Стоит только этим опасным книжкам завестись в доме, и они совратят горничных да и того же слугу.

– А политические памфлеты? Вы о них забыли? – с важностью добавил г-н де Реналь.

Ему не хотелось обнаруживать своего восхищения этим искусным маневром, который придумал гувернер его детей.

Так жизнь Жюльена заполнялась этими маленькими уловками, и их успех интересовал его много больше, чем та несомненная склонность, которую он без труда мог бы прочесть в сердце г-жи де Реналь.

Душевное состояние, в котором он пребывал до сих пор, теперь снова овладело им в доме г-на мэра. И тут, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, среди которых жил, и чувствовал, что и они ненавидят его. Слушая изо дня в день разговоры помощника префекта, г-на Вально и прочих друзей дома о тех или иных событиях, случившихся у них на глазах, он видел, до какой степени их представления не похожи на действительность. Какой-нибудь поступок, которым он мысленно восхищался, неизменно вызывал яростное негодование у всех окружающих. Он беспрестанно восклицал про себя: «Какие чудовища! Ну и болваны!» Забавно было то, что, проявляя такое высокомерие, он частенько ровно ничего не понимал из того, о чем они говорили.

За всю свою жизнь он ни с кем не разговаривал откровенно, если не считать старика лекаря, а весь небольшой запас знаний, которыми тот располагал, ограничивался итальянскими кампаниями Бонапарта и хирургией. Подробные описания самых мучительных операций пленяли юношескую отвагу Жюльена; он говорил себе: «Я бы стерпел, не поморщившись».

В первый раз, когда г-жа де Реналь попробовала завязать с ним разговор, не имеющий отношения к воспитанию детей, он стал рассказывать ей о хирургических операциях; она побледнела и попросила его перестать.

А кроме этого, Жюльен ничего не знал. И хотя жизнь его протекала в постоянном общении с г-жой де Реналь, – стоило им только остаться вдвоем, между ними воцарялось глубокое молчание. На людях, в гостиной, как бы смиренно он ни держал себя, она угадывала мелькавшее в его глазах выражение умственного превосходства над всеми, кто у них бывал в доме. Но как только она оставалась с ним наедине, он приходил в явное замешательство. Ее тяготило это, ибо она своим женским чутьем угадывала, что замешательство это проистекает отнюдь не от каких-то нежных чувств.

Руководствуясь невесть какими представлениями о высшем обществе, почерпнутыми из рассказов старика лекаря, Жюльен испытывал крайне унижительное чувство, если в присутствии женщины посреди общего разговора вдруг наступала пауза, – точно он-то и был виноват в этом неловком молчании. Но чувство это было во сто крат мучительнее, если молчание наступало, когда он бывал наедине с женщиной. Его воображение, напичканное самыми непостижимыми, поистине испанскими представлениями о том, что надлежит говорить мужчине, когда он остается вдвоем с женщиной, подсказывало ему в эти минуты замешательства совершенно немыслимые вещи. На что он только не

отваживался про себя! А вместе с тем он никак не мог прервать это унизительное молчание. И в силу этого его суровый вид во время долгих прогулок с г-жой де Реналь и детьми становился еще суровее от переживаемых им жестоких мучений. Он страшно презирал себя. А если ему, на свою беду, удавалось заставить себя заговорить, он изрекал что-нибудь совершенно нелепое. И ужаснее всего было то, что он не только сам видел нелепость своего поведения, но и преувеличивал ее. Но было при этом еще нечто, чего он не мог видеть – его собственные глаза; а они были так прекрасны, и в них отражалась такая пламенная душа, что они, подобно хорошим актерам, придавали иной раз чудесный смысл тому, в чем его и в помине не было. Г-жа де Реналь заметила, что наедине с нею он способен был разговориться только в тех случаях, когда под впечатлением какого-нибудь неожиданного происшествия забывал о необходимости придумывать комплименты. Так как друзья дома отнюдь не баловали ее никакими блестящими, интересными своей новизной мыслями, она наслаждалась и восхищалась этими редкими вспышками, в которых обнаруживался ум Жюльена.

После падения Наполеона в провинциальных нравах не допускается никакой галантности. Всякий дрожит, как бы его не сместили. Мошенники ищут опоры в конгрегации, и ханжество процветает вовсю даже в кругах либералов. Скука возрастает. Не остается никаких развлечений, кроме чтения да сельского хозяйства.

Госпожа де Реналь, богатая наследница богобоязненной тетки, выданная замуж в шестнадцать лет за немолодого дворянина, за всю свою жизнь никогда не испытывала и не видела ничего, хоть сколько-нибудь похожего на любовь. Только ее духовник, добрый кюре Шелан, говорил с ней о любви по случаю ухаживаний г-на Вально и нарисовал ей такую отвратительную картину, что это слово в ее представлении было равнозначно самому гнусному разврату. А то немного, что она узнала из нескольких романов, случайно попавших ей в руки, казалось ей чем-то совершенно исключительным и даже небывалым. Благодаря этому неведению г-жа де Реналь, всецело поглощенная Жюльеном, пребывала в полном блаженстве, и ей даже в голову не приходило в чем-либо себя упрекать.

VIII. Маленькие происшествия

Then there were sighs, the deeper for suppression,

And stolen glances, sweeter for the theft,

And burning blushes, though for no transgression...

«Don Juan», с. I, st. LXXIV[б - И вздох тем глубже, что вздохнуть боится, Поймает взор и сладостно замрет, И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться... Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXIV (англ.). Здесь и далее стихи в переводе С. Боброва.]

Ангельская кротость г-жи де Реналь, которая проистекала из ее характера, а также из того блаженного состояния, в котором она сейчас находилась, немного изменяла ей, едва она вспоминала о своей горничной Элизе. Девушка эта получила наследство, после чего, придя на исповедь к кюре Шелану, призналась ему в своем желании выйти замуж за Жюльена. Кюре от всего сердца порадовался счастью своего любимца, но каково же было его удивление, когда Жюльен самым решительным образом заявил ему, что предложение мадемуазель Элизы для него никак не подходит.

– Берегитесь, дитя мое, – сказал кюре, нахмутив брови, – остерегайтесь того, что происходит в сердце вашем; я готов порадоваться за вас, если вы повинуетесь своему призванию и только во имя его готовы презреть такое изрядное состояние. Вот уж ровно пятьдесят шесть лет стукнуло, как я служу священником в Верьере, и тем не менее меня, по всей видимости, сместят. Я сокрушаюсь об этом, но как-никак у меня есть восемьсот ливров ренты. Я вас затем посвящаю в такие подробности, чтобы вы не обольщали себя надеждами на то, что может вам принести сан священника. Если вы станете заискивать перед людьми власть имущими, вы неминуемо обречете себя на вечную гибель. Возможно, вы достигнете благоденствия, но для этого вам придется обижать бедных, льстить помощнику префекта, мэру, каждому влиятельному лицу и подчиняться их прихотям; такое поведение, то есть то, что в миру называется «умением жить», не всегда бывает для мирянина совсем уж несовместимо со спасением души, но в нашем звании надо выбирать: либо благоденствовать в этом мире, либо в жизни будущей; середины нет. Ступайте, мой друг, поразмыслите над этим, а через три дня приходите и дайте мне окончательный ответ. Я иногда с сокрушением замечаю некий сумрачный пыл, сокрытый в природе вашей, который, на мой взгляд, не говорит ни о воздержании, ни о безропотном отречении от благ земных, а ведь эти качества необходимы слуге церкви. Я знаю, что с вашим умом вы далеко пойдете, но позвольте

мне сказать вам откровенно, – добавил добрый кюре со слезами на глазах, – если вы примете сан священника, я со страхом думаю, убережете ли вы свою душу.

Жюльен со стыдом признался себе, что он глубоко растроган: первый раз в жизни он почувствовал, что кто-то его любит; он расплакался от умиления и, чтобы никто не видел его, убежал в лесную чащу, в горы над Верьером.

«Что со мной делается? – спрашивал он себя. – Я чувствую, что мог бы сто раз жизнь свою отдать за этого добрейшего старика, а ведь как раз он-то мне и доказал, что я дурак. Именно его-то мне важнее всего обойти, а он меня видит насквозь. Этот тайный пыл, о котором он говорит, ведь это моя жажда выйти в люди. Он считает, что я недостойн стать священником, а я-то воображал, что этот мой добровольный отказ от пятисот луидоров ренты внушит ему самое высокое представление о моей святости и о моем призвании».

«Отныне, – внушал самому себе Жюльен, – я буду полагаться только на те черты моего характера, которые я уж испытал на деле. Кто бы мог сказать, что я с таким наслаждением буду обливаться слезами? Что я способен любить человека, который доказал мне, что я дурак?»

Через три дня Жюльен наконец нашел предлог, которым ему следовало бы вооружиться с самого первого дня; этот предлог, в сущности, был клеветой, но не все ли равно? Он неуверенным голосом признался кюре, что есть одна причина, – какая, он не может сказать, потому что это повредило бы третьему лицу, – но она-то с самого начала и отвратила его от этого брака. Разумеется, это бросало тень на Элизу. Отцу Шелану показалось, что все это свидетельствует только о суетной горячности, отнюдь не похожей на тот священный огонь, которому надлежит пылать в душе юного служителя церкви.

– Друг мой, – сказал он ему, – для вас было бы много лучше стать добрым, зажиточным деревенским жителем, семьянином, почтенным и образованным, чем идти без призвания в священники.

Жюльен сумел очень хорошо ответить на эти увещевания: он говорил как раз то, что нужно, то есть выбирал именно те выражения, какие больше всего подходят ревностному семинаристу; но тон, каким все это произносилось, и сверкавший в его очах огонь, который он не умел скрыть, пугали отца Шелана.

Однако не следует делать из этого какие-либо нелестные выводы о Жюльене: он тщательно продумывал свои фразы, исполненные весьма тонкого и осторожного лицемерия, и для своего возраста справился с этим не так уж плохо. Что же касается тона и жестов, то ведь он жил среди простых крестьян и не имел перед глазами никаких достойных примеров. В дальнейшем, едва только он обрел возможность приблизиться к подобного рода мастерам, его жестикуляция сделалась столь же совершенной, сколь и его красноречие.

Госпожа де Реналь удивлялась, отчего это ее горничная, с тех пор как получила наследство, ходит такая невеселая: она видела, что девушка беспрестанно бегаёт к кюре и возвращается от него заплаканная; в конце концов Элиза сама заговорила с ней о своем замужестве.

Госпожа де Реналь занемогла: ее кидало то в жар, то в озноб, и она совсем лишилась сна; она только тогда и была спокойна, когда видела возле себя свою горничную или Жюльена. Ни о чем другом она думать не могла, как только о них, о том, как они будут счастливы, когда поженятся. Этот бедный маленький домик, где они будут жить на свою ренту в пятьсот луидоров, рисовался ей в совершенно восхитительных красках. Жюльен, конечно, сможет поступить в магистратуру в Брэ, в двух лье от Верьера, и в таком случае у нее будет возможность видеть его время от времени.

Госпоже де Реналь стало всерьез казаться, что она сходит с ума; она сказала об этом мужу и в конце концов действительно заболела и слегла. Вечером, когда горничная принесла ей ужин, г-жа де Реналь заметила, что девушка плачет. Элиза теперь ужасно раздражала ее, и она прикрикнула на нее, но тут же попросила у нее прощения. Элиза разрыдалась и, всхлипывая, сказала, что, ежели госпожа позволит, она ей расскажет свое горе.

– Расскажите, – отвечала г-жа де Реналь.

– Ну так вот, сударыня, он отказал мне; видно, злые люди наговорили ему про меня, а он верит.

– Кто отказал вам? – произнесла г-жа де Реналь, едва переводя дух.

– Да кто же, как не господин Жюльен? – рыдая, промолвила служанка. – Господин кюре как уж его уговаривал; потому что господин кюре говорит, что

ему не следует отказывать порядочной девушке из-за того только, что она служит в горничных. А ведь у самого-то господина Жюльена отец простой плотник, да и сам он, пока не поступил к вам, на что жил-то?

Госпожа де Реналь уже не слушала: она была до того счастлива, что чуть не лишилась рассудка. Она заставила Элизу несколько раз повторить, что Жюльен в самом деле отказал ей, и что это уже окончательно, и нечего и надеяться, что он еще может передумать и принять более разумное решение.

– Я сделаю еще одну, последнюю попытку, – сказала г-жа де Реналь девушке, – я сама поговорю с господином Жюльеном.

На другой день после завтрака г-жа де Реналь доставила себе несказанное наслаждение, отстаивая интересы своей соперницы только затем, чтобы в ответ на это в течение целого часа слушать, как Жюльен снова и снова упорно отказывается от руки и состояния Элизы.

Жюльен мало-помалу оставил свою осмотрительную уклончивость и в конце концов очень неглупо отвечал на благоразумные увещевания г-жи де Реналь. Бурный поток радости, хлынувший в ее душу после стольких дней отчаяния, сломил ее силы. Она лишилась чувств. Когда она пришла в себя и ее уложили в ее комнате, она попросила оставить ее одну. Она была охвачена чувством глубочайшего изумления.

«Неужели я люблю Жюльена?» – спросила она наконец сама себя.

Это открытие, которое в другое время вызвало бы у нее угрызения совести и потрясло бы ее до глубины души, теперь показалось ей просто чем-то странным, на что она взирала безучастно, как бы со стороны. Душа ее, обессиленная всем тем, что ей пришлось пережить, стала теперь нечувствительной и неспособной к волнению.

Госпожа де Реналь попробовала заняться рукоделием, но тут же уснула мертвым сном, а когда проснулась, все это показалось ей уж не таким страшным, как должно было бы казаться. Она чувствовала себя такой счастливой, что не способна была видеть что-либо в дурном свете. Эта милая провинциалка, чистосердечная и наивная, никогда не растревляла себе душу, чтобы заставить ее острее ощутить какой-нибудь неизведанный оттенок чувства

или огорчения. А до того как в доме появился Жюльен, г-жа де Реналь, целиком поглощенная бесконечными хозяйственными делами, которые за пределами Парижа достаются в удел всякой доброй матери семейства, относилась к любовным страстям примерно так, как мы относимся к лотерее: явное надувательство, и только сумасшедший может верить, что ему посчастливится.

Позвонили к обеду: г-жа де Реналь вспыхнула, услышав голос Жюльена, возвращавшегося с детьми. Она уже научилась немножко хитрить, с тех пор как полюбила, и, чтобы объяснить свой внезапный румянец, начала жаловаться, что у нее страшно болит голова.

– Вот все они на один лад, эти женщины, – громко захохотав, сказал г-н де Реналь. – Вечно у них там что-то такое в неисправности.

Как ни привыкла г-жа де Реналь к подобного рода шуточкам, на этот раз ее покорило. Чтобы отделаться от неприятного чувства, она поглядела на Жюльена: будь он самым что ни на есть страшным уродом, он сейчас все равно понравился бы ей.

Господин де Реналь тщательно подражал обычаям придворной знати и, едва только наступили первые весенние дни, перебрался в Вержи; это была деревенька, прославившаяся трагической историей Габриэли. В нескольких шагах от живописных развалин старинной готической церкви стоит древний замок с четырьмя башнями, принадлежащий г-ну де Реналю, а кругом парк, разбитый наподобие Тюльрийского, с множеством бордюров из букса и с рядами каштанов, которые подстригают дважды в год. К нему примыкает участок, усаженный яблонями, – излюбленное место для прогулок. В конце этой фруктовой рощи возвышаются восемь или десять великолепных ореховых деревьев, – их огромная листва уходит чуть ли не на восемьдесят футов в высоту.

– Каждый из этих проклятых орехов, – ворчал г-н де Реналь, когда его жена любовалась ими, – отнимает у меня пол-арпана урожая: пшеница не вызревает в их тени.

Госпожа де Реналь словно впервые почувствовала прелесть природы: она восхищалась всем, не помня себя от восторга. Чувство, воодушевлявшее ее, делало ее предприимчивой и решительной. Через два дня после их переезда в

Вержи, как только г-н де Реналь, призываемый своими обязанностями мэра, уехал обратно в город, г-жа де Реналь наняла за свой счет рабочих. Жюльен подал ей мысль проложить узенькую дорожку, которая вилась бы вокруг фруктового сада вплоть до громадных орехов и была бы посыпана песком. Тогда дети будут с раннего утра гулять здесь, не рискуя промочить ноги в росистой траве. Не прошло и суток, как эта идея была приведена в исполнение. Г-жа де Реналь очень весело провела весь этот день с Жюльеном, руководя рабочими.

Когда верьерский мэр вернулся из города, он чрезвычайно удивился, увидев уже готовую дорожку. Г-жа де Реналь также, со своей стороны, удивилась его приезду: она совсем забыла о его существовании. Целых два месяца он с возмущением говорил об ее самочинстве: как это можно было, не посоветовавшись с ним, решиться на такое крупное новшество? И только то, что г-жа де Реналь взяла этот расход на себя, несколько утешало его.

Она целые дни проводила с детьми в саду, гонялась вместе с ними за бабочками. Они смастерили себе большие колпаки из светлого газа, при помощи которых и ловили бедных чешуекрылых. Этому тарабарскому названию научил г-жу де Реналь Жюльен, ибо она выписала из Безансона превосходную книгу Годара, и Жюльен рассказывал ей о необыкновенных нравах этих насекомых.

Их безжалостно накалывали булавками на большую картонную рамку, тоже приспособленную Жюльеном.

Наконец-то у г-жи де Реналь и Жюльена нашлась тема для бесед, и ему уже не приходилось больше терпеть невыразимые муки, которые он испытывал в минуты молчания.

Они говорили без конца и с величайшим увлечением, хотя всегда о предметах самых невинных. Эта кипучая жизнь, постоянно чем-то заполненная и веселая, была по вкусу всем, за исключением горничной Элизы, которой приходилось трудиться не покладая рук. «Никогда, даже во время карнавала, когда у нас бывает бал в Верьере, – говорила она, – моя госпожа так не занималась своими нарядами; она два, а то и три раза в день меняет платья».

Так как в наши намерения не входит льстить кому бы то ни было, мы не станем отрицать, что г-жа де Реналь, у которой была удивительная кожа, стала теперь шить себе платья с короткими рукавами и с довольно глубоким вырезом. Она

была очень хорошо сложена, и такие наряды шли ей как нельзя лучше.

– Никогда вы еще такой молоденькой не выглядели, – говорили ей друзья, приезжавшие иногда из Верьера обедать в Вержи. (Так любезно выражаются в наших краях.)

Странное дело, – мало кто этому у нас поверит, – но г-жа де Реналь поистине без всякого умысла предавалась заботам о своем туалете. Ей это доставляло удовольствие; и без всякой задней мысли, едва только у нее выдавался свободный часок, когда она не охотилась за бабочками с Жюльеном и детьми, она садилась за иглу и с помощью Элизы мастерила себе платье. Когда она один-единственный раз собралась съездить в Верьер, это тоже было вызвано желанием купить на летние платья новую материю, только что полученную из Мюлуза.

Она привезла с собой в Вержи свою молодую родственницу. После замужества г-жа де Реналь незаметно для себя сблизилась с г-жой Дервиль, с которой она когда-то вместе училась в монастыре Сердца Иисусова.

Госпожа Дервиль всегда очень потешалась над всяческими, как она говорила, «сумасбродными выдумками» своей кузины. «Вот уж мне самой никогда бы не пришло в голову», – говорила она. Эти свои внезапные выдумки, которые в Париже называли бы остроумием, г-жа де Реналь считала вздором и стеснялась высказывать их при муже, но присутствие г-жи Дервиль воодушевляло ее. Она сначала очень робко произносила вслух то, что ей приходило на ум, но когда подруги подолгу оставались наедине, г-жа де Реналь оживлялась: долгие утренние часы, которые они проводили вдвоем, пролетали как миг, и обоим было очень весело. В этот приезд рассудительной г-же Дервиль кузина показалась не такой веселой, но гораздо более счастливой.

Жюльен, в свою очередь, с тех пор как приехал в деревню, чувствовал себя совсем как ребенок и гонялся за бабочками с таким же удовольствием, как и его питомцы. После того как ему то и дело приходилось сдерживаться и вести самую замысловатую политику, он теперь, очутившись в этом уединении, не чувствуя на себе ничьих взглядов и инстинктивно не испытывая никакого страха перед г-жой де Реналь, отдавался радости жизни, которая так живо ощущается в этом возрасте, да еще среди самых чудесных гор в мире.

Госпожа Дервиль с первого же дня показалась Жюльену другом, и он сразу же бросился показывать ей, какой прекрасный вид открывается с последнего поворота новой дорожки под ореховыми деревьями. Сказать правду, эта панорама ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше, чем самые живописные ландшафты, которыми могут похвастаться Швейцария и итальянские озера. Если подняться по крутому склону, который начинается в двух шагах от этого места, перед вами вскоре откроются глубокие пропасти, по склонам которых чуть ли не до самой реки тянутся дубовые леса. И вот сюда-то, на вершины этих отвесных скал, веселый, свободный – и даже, пожалуй, в некотором смысле повелитель дома – Жюльен приводил обеих подруг и наслаждался их восторгом перед этим величественным зрелищем.

– Для меня это как музыка Моцарта, – говорила г-жа Дервиль.

Вся красота горных окрестностей Верьера была совершенно отравлена для Жюльена завистью братьев и присутствием вечно чем-то недовольного деспота-отца. В Вержи ничто не воскрешало для него этих горьких воспоминаний; в первый раз в жизни он не видел вокруг себя врагов. Когда г-н де Реналь уезжал в город, – а это случалось часто, – Жюльен разрешал себе читать, и вскоре, вместо того чтобы читать по ночам, да еще пряча лампу под опрокинутым цветочным горшком, он мог преспокойно спать ночью, а днем, в промежутках между занятиями с детьми, забирался на эти утесы с книгой, которая была для него единственным учителем жизни и неизменным предметом восторгов. И здесь в минуты уныния он обретал сразу и радость, и вдохновение, и утешение.

Некоторые изречения Наполеона о женщинах, кое-какие рассуждения о достоинствах того или иного романа, бывшего в моде во время его царствования, теперь впервые навели Жюльена на мысли, которые у всякого другого молодого человека явились бы много раньше.

Наступили жаркие дни. У них завелся обычай сидеть вечерами под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там всегда было очень темно. Как-то раз Жюльен что-то с воодушевлением рассказывал, от души наслаждаясь тем, что он так хорошо говорит, а его слушают молодые женщины. Оживленно размахивая руками, он нечаянно задел руку г-жи де Реналь, которой она оперлась на спинку крашеного деревянного стула, какие обычно ставят в садах.

Она мгновенно отдернула руку; и тут Жюльену пришло в голову, что он должен добиться, чтобы впредь эта ручка не отдергивалась, когда он ее коснется. Это сознание долга, который ему предстояло свершить, и боязнь показаться смешным или, вернее, почувствовать себя униженным мгновенно отравили всю его радость.

IX. Вечер в усадьбе

«Дидона» Герена – прелестный набросок!

Штромбек

Когда на другое утро Жюльен увидал г-жу де Реналь, он несколько раз окинул ее очень странным взглядом: он наблюдал за ней, словно за врагом, с которым ему предстояла схватка. Столь разительная перемена в выражении этих взглядов, происшедшая со вчерашнего дня, привела г-жу де Реналь в сильное смятение: ведь она так ласкова с ним, а он как будто сердится. Она не в состоянии была оторвать от него глаз.

Присутствие г-жи Дервиль позволяло Жюльену говорить меньше и почти всецело сосредоточиться на том, что у него было на уме. Весь этот день он только тем и занимался, что старался укрепить себя чтением вдохновлявшей его книги, которая закаляла его дух.

Он намного раньше обычного закончил свои занятия с детьми, и когда после этого присутствие г-жи де Реналь заставило его снова целиком погрузиться в размышления о долге и о чести, он решил, что ему надо во что бы то ни стало сегодня же вечером добиться, чтобы ее рука осталась в его руке.

Солнце садилось, приближалась решительная минута, и сердце Жюльена неистово колотилось в груди. Наступил вечер. Он заметил, – и у него точно бремя свалилось с души, – что ночь обещает сегодня быть совсем темной. Небо, затянутое низко бегущими облаками, которые нагонял знойный ветер, по-видимому, предвещало грозу. Приятельницы загулялись допоздна. Во всем, что бы они ни делали в этот вечер, Жюльену чудилось что-то особенное. Они

наслаждались этой душной погодой, которая для некоторых чувствительных натур словно усиливает сладость любви.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Посадите вместе тысячи людей получше этих, в клетке станет еще хуже. Гоббс (англ.).

2

И моя ли то вина, если это действительно так? Макиавелли (ит.).

3

Медлительностью спас положение. Энний (лат.).

4

Не пойму, что творится со мною. Моцарт, «Свадьба Фигаро» (ит.).

5

Наглядно, воочию (лат.).

6

И вздох тем глубже, что вздохнуть боится,

Поймает взор и сладостно замрет,

И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться...

Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXIV (англ.). Здесь и далее стихи в переводе С. Боброва.

Купить: <https://tellnovel.com/frederik-stendal/krasnoe-i-chnoe-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)